

INTDANDNM E M У А Р Ы Е П О Д Г Р И Ф О М 1902VSDIM91  
F57B9N1DVSDIMDZNU < С Е К Р Е Т Н О > V1EG3F57B9NNRSGG3F57B9

# АЛЕКСАНДР ОРЛОВ



# ПОДЛИННЫЙ СТАЛИН

ВОСПОМИНАНИЯ  
ГЕНЕРАЛА НКВД

Мемуары под грифом «секретно»

Александр Орлов

**Подлинный Сталин.  
Воспоминания генерала НКВД**

«Алгоритм»

2016

УДК 94(47+57) Сталин И.В.  
ББК 63.3(2)6-8 Сталин И.В.

**Орлов А. М.**

Подлинный Сталин. Воспоминания генерала НКВД /  
А. М. Орлов — «Алгоритм», 2016 — (Мемуары под грифом  
«секретно»)

ISBN 978-5-906914-21-7

Автор книги — старший майор госбезопасности (соответствовало армейскому званию генерала), нелегальный резидент советской разведки во Франции, Австрии, Италии (1933—1937), резидент НКВД и советник республиканского правительства по безопасности в Испании (1937—1938), высокопоставленный сотрудник в центральном аппарате НКВД. Благодаря своему служебному положению он был прекрасно осведомлен о том, как был запущен и функционировал механизм политических репрессий 37-го года. И в июне 1938 года, справедливо опасаясь за свою жизнь, сбежал на Запад. Спустя много лет он подробно написал о преступлениях Сталина, совершенных им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, организованных им против вождей Октябрьской революции, и о его отношениях с людьми, чью гибель он подготовил.

УДК 94(47+57) Сталин И.В.  
ББК 63.3(2)6-8 Сталин И.В.

ISBN 978-5-906914-21-7

© Орлов А. М., 2016  
© Алгоритм, 2016

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие                       | 6  |
| Провокация                        | 11 |
| 1                                 | 11 |
| 2                                 | 20 |
| Постоянные козыри Сталина         | 24 |
| 1                                 | 24 |
| 2                                 | 27 |
| 3                                 | 30 |
| 4                                 | 32 |
| Мистические процессы              | 34 |
| 1                                 | 34 |
| 2                                 | 40 |
| 3                                 | 43 |
| Машина инквизиции                 | 44 |
| 1                                 | 44 |
| 2                                 | 52 |
| 3                                 | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 55 |

**Александр Орлов**  
**Подлинный Сталин:**  
**воспоминания генерала НКВД**

© Орлов А.М., 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

## Предисловие

Я не принадлежу к какой бы то ни было политической партии или группе. В этой книге я не преследую никаких политических или узкопартийных целей. Моя единственная задача – предать гласности тайную историю преступлений, совершенных Сталиным, и таким образом восстановить те недостающие звенья, без которых трагические события, произошедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой загадки.

Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Всесоюзной коммунистической партии, и советское правительство последовательно доверяло мне ряд ответственных постов. Я принимал активное участие в гражданской войне, сражался в рядах Красной армии на Юго-восточном фронте, где командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу врага, и отвечал также за контрразведку.

Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил меня помощником прокурора в Верховный суд. Здесь я принимал участие, между прочим, в разработке первого советского уголовного кодекса.

В 1924 году я был назначен заместителем председателя Экономического управления ОГПУ (в дальнейшем получившего наименование НКВД). На меня были возложены государственный надзор за реконструкцией советской промышленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебросили в Закавказье, в погранвойска, и я начал командовать подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и Турцией.

В 1926 году меня назначили начальником экономического отдела Иностранного управления ОГПУ и уполномоченным госконтроля, отвечавшим за внешнюю торговлю.

1936 год ознаменовался началом гражданской войны в Испании. Политбюро направило меня туда – советником республиканского правительства – для организации контрразведки и партизанской войны в тылу противника. В Испанию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12 июля 1938 года – дня, когда я порвал со сталинским режимом.

На тех должностях, что я занимал в ОГПУ-НКВД, мне удалось собрать, а затем и вывезти из СССР совершенно секретные сведения: о преступлениях Сталина, совершенных им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, организованных им против вождей Октябрьской революции, и о его отношениях с людьми, чью гибель он подготовил.

Я записывал указания, устно даваемые Сталиным руководителям НКВД на кремлевских совещаниях; его указания следователям, как сломить сопротивление сподвижников Ленина и вырвать у них ложные признания; личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесенные этими обреченными в стенах Лубянки. Эти тщательно скрываемые секретные материалы я получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов (в дальнейшем – начальник Экономического управления НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при подготовке так называемых московских процессов) и Борис Берман, заместитель начальника Иностранного управления НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надежных помощников из НКВД. По мере того, как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции. За ними последовали в небытие тысячи энкаведистов – те, что по своему положению в НКВД могли в той или иной степени располагать секретной информацией о сталинских преступлениях.

Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внутренних дел. Там же до меня дошли известия об уничтожении всех моих бывших друзей и коллег, и, казалось, вот-вот наступит моя очередь. Тем не менее, я не мог открыто порвать со сталинским режимом. В Москве у меня оставалась мать, которая согласно варварским сталинским законам рассматривалась властями как заложница и которой угрожала смертная казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в таком же положении была и мать моей жены.

На фронтах Испании, особенно, когда я выезжал во фронтовую зону при подготовке наступления республиканских войск, я часто оказывался под сильной вражеской бомбежкой. В эти минуты я не раз ловил себя на мысли, что, если меня убьют при исполнении служебных обязанностей, угроза, нависшая над моей семьей и нашими близкими, оставшимися в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казалась мне более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой.

Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою работу среди испанцев, восхищавших меня своим мужеством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падет от руки одного из своих сообщников или что ужас кошмарных московских «чисток» минует как-нибудь сам собой.

В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого, начальника Иностранного управления НКВД. В ней сообщалось, что секретные службы Франко и гитлеровской Германии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой испанцам Советским Союзом.

Слуцкий сообщал также, что НКВД собирается прислать мне личную охрану из двенадцати, человек, которая отвечала бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех поездках. Мне тотчас пришло в голову, что в первую очередь этой «личной охране» будет поручено ликвидировать меня самого. Я телеграфировал Слуцкому, что в личной охране не нуждаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняется испанской «гражданской гвардией», а за его пределами во всех поездках меня сопровождают вооруженные агенты испанской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало действительности.

Советская личная охрана так и не была прислана, однако этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что Ежов, новый нарком внутренних дел, по-видимому, приказал своим секретным «подвижным группам» убить меня здесь же, в Испании. Предвидя такой оборот, я послал во фронтовую зону одного из своих помощников с заданием отобрать из немецкой интербригады и доставить ко мне десяток преданных коммунистов, накопивших достаточный боевой опыт. Эти люди стали моими постоянными спутниками. Вооруженные автоматами и связками ручных гранат, подвешенных к поясу, они неотлучно сопровождали меня.

В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельглас, заместитель Слуцкого. Не кто иной, как он, за три месяца до этого организовал в Швейцарии убийство Игнатия Рейсса – резидента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпигельглас, у которого жена и дочь оставались в Советском Союзе, фактически в роли заложников, не был уверен в своей собственной участи и, вероятно, сам подумывал, как выйти из игры. Но это отнюдь не делало его менее опасным. У него не было в Испании никаких явных дел, и его приезд только укрепил мои подозрения, особенно когда я узнал, что он встречался в Мадриде с неким Володиным, который, как выяснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руководителя террористической «подвижной группы».

Шпигельгласу и Володину приходилось считаться с тем, что меня защищала моя собственная охрана, так что в случае покушения могла возникнуть перестрелка с серьезными потерями для обеих сторон, к чему ни тот, ни другой не привыкли. Мне пришло в голову, не приказала ли Москва Володину похитить мою четырнадцатилетнюю дочь и затем шантажировать меня, вынуждая вернуться в СССР. Мои мрачные подозрения настолько обострились, что я отправился в загородный дом, где жили жена с дочерью, посадил их в машину и

отвез во Францию. Там, недалеко от испанской границы, мной была снята для них небольшая вилла. С ними я оставил надежного телохранителя из испанской тайной полиции, который заодно исполнял и обязанности шофера. Сам я вернулся к своей работе в Барселоне.

Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, поскольку сознавал, что, действуя таким образом, продлеваю жизнь моей матери и тещи.

Меня все еще не оставляла наивная надежда, что возможны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного террора.

Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года я получил телеграмму Ежова – в то время второго человека в стране после Сталина. Мне предписывалось выехать в Бельгию, в Антверпен, и 14 июля подняться на борт стоявшего там советского судна «Свирь» для совещания с «товарищем, известным вам лично». При этом давалось понять, что прибыть туда я должен в машине нашего парижского посольства, в сопровождении Бирюкова, советского генерального консула во Франции, который «может пригодиться в качестве посредника в связи с предстоящим важным заданием».

Телеграмма была длинной и мудреной. Ежов и те, кто перешли вместе с ним из аппарата ЦК в НКВД, были куда менее опытные, чем прежние энкаведистские главари, ныне ликвидированные. Эти люди так старались усыпить мои подозрения и делали это так неуклюже, что, сами того не желая, выдали свое тайное намерение. Было ясно, что «Свирь» станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ: «Прибуду в Антверпен в назначенный день».

12 июля мои коллеги собрались перед нашим особняком в Барселоне, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал: они понимают, что меня ждет западня, и уверены, что я в нее попадусь.

Часа через два я был на французской границе. Попрощался с охраной и с агентом испанской тайной полиции, который привык повсюду сопровождать меня. Отсюда мой водитель-испанец доставил меня в гостиницу в Перпиньяне, где ждали жена и дочь. Мы сели в ночной экспресс и утром 13 июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словно сошел с тонущего корабля, – неожиданно, без заранее подготовленного плана, без надежды спастись.

Я знал, что НКВД располагает во Франции густой агентурной сетью, и в течение сорока восьми часов агенты Ежова нападут на мой след. Значит, из Франции следовало выбираться как можно скорее.

Единственным безопасным пристанищем представлялась мне Америка. Я позвонил в американское посольство и попросил посла, Вильяма Буллита. Был как раз канун французского национального праздника – дня взятия Бастилии, и мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены, мы направились в представительство Канады. Здесь я предъявил наши дипломатические паспорта и попросил канадские визы под тем предлогом, что хотел бы отправить семью в Квебек – провести там летний отпуск.

СССР не имел с Канадой дипломатических отношений, так что можно было опасаться, что представительство откажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнесся к нам сочувственно. Он любезно вручил мне письмо от своего имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил оказать мне помощь.

Одновременно с нами в здании представительства оказался и канадский пастор, каким-то образом связанный с трансатлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский теплоход «Монклэр» как раз сегодня отправляется из Шербура, и еще осталось несколько свободных кают. Я бросился в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, где оставалась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу поезда. Но спустя несколько часов благополучно поднялись на борт теплохода, а еще через час с небольшим – покинули Европу.

Моя дочь пускалась в это путешествие с легким сердцем. Она все еще оставалась в блаженном неведении относительно того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих своих бабушек, родину.

Начиная с 1926 года моя работа заставляла меня большую часть времени жить за границей, и любовь моей дочери к России и родному народу ничем не была омрачена. Из-за ее болезни – она страдала суставным ревматизмом – у нее было мало возможностей наблюдать реальную жизнь, и о страданиях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостях сталинского режима, она вовсе ничего не знала. Мы с женой никогда не стремились развеять ее иллюзии. Ей были свойственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бесконечное сочувствие любому человеческому страданию. Понимая, что из-за болезни ее жизнь может быть слишком коротка, мы старались утаить от нее правду – это относилось и к сталинской тирании, и вообще к несчастной доле русского народа.

Трудно было объяснить ей, что произошло с нашей семьей. Но она поняла. Она слушала нас, обливаясь слезами. Мир, который она знала, оказался выдуманным, ее иллюзии – разлетелись в пух и прах. Она знала, что ее отец и мать отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей было больно за нас. В один день она выросла и стала взрослой.

Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и копию его отправил Ежову. В письме я сказал Сталину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я думаю о его режиме. Но главный смысл письма был в другом. Я ставил своей целью спасти жизнь наших матерей. Умолять Сталина сохранить им жизнь, взывать к его милосердию было бесполезно. Я выбрал другой путь, более подходящий, когда речь идет о Сталине. Со всей доступной мне решительностью я предупредил его, что если он посмеет выместить зло на наших матерях, я опубликую все, что мне известно о нем. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и приложил к письму перечень его преступлений.

Кроме того, я предостерег его: если даже я буду убит его агентурой, историю его преступлений немедленно опубликует мой адвокат. Хорошо зная Сталина, я был уверен, что он примет мои предупреждения всерьез.

Я вступил в игру, опасную для себя и для моей семьи. Но я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им цели: похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести, – но только после того, как убедится, что его преступления останутся нераскрытыми.

13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезновения из Испании, я прибыл в Соединенные Штаты с дипломатической визой, выданной мне главой американского представительства в Оттаве.

По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же направились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару по делам иммиграции о том, что порываю с правительством своей страны и прошу политического убежища.

Охота за мной началась тотчас же и продолжалась четырнадцать лет. В этом противостоянии на стороне Сталина были колоссальное политическое могущество и полчища тайных агентов. На моей стороне – только мое умение предвидеть и опознавать их уловки, да еще самоотверженность и храбрость моих близких – жены и дочери.

Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опасности. Никаких известий об их судьбе мы не имели.

В начале 1953 года мы с женой решили, что матерей наших уже нет в живых и можно рискнуть опубликовать эту книгу. В феврале я начал переговоры о публикации некоторых разделов с одним из редакторов журнала «Лайф». Переговоры еще шли, когда умер Сталин. Я был страшно разочарован, что он не протянул еще немного, – тогда бы он увидел разошед-

шуюся по всему миру тайную историю своих преступлений и убедился, что все его старания утаить их оказались тщетными.

Смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасаться за свою жизнь. Кремль по-прежнему ревниво оберегает свои тайны и сделает все, что в его власти, чтобы разделаться со мной, – хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблазн последовать моему примеру.

*Александр Орлов, Нью-Йорк, июнь 1953 г.*

## Провокация

### 1

1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев вошел в здание Смольного и выстрелом из револьвера убил наповал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, главу ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Из Москвы немедленно выехала в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Сталиным, чтобы расследовать обстоятельства убийства.

Подробности этого преступления остались неопубликованными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрился пробраться в строго охраняемый Смольный? Как ему удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины толкнули его на этот отчаянный шаг – политические или личные? Все обстоятельства преступления оказались окутаны покровом глубокой тайны.

В первом правительственном заявлении утверждалось, что убийца Кирова – один из белогвардейских террористов, которые якобы проникают в Советский Союз из Финляндии, Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские газеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреляно 104 террориста-белогвардейца. Газетами была начата бурная кампания против «окопавшихся на Западе» белогвардейских организаций (в первую очередь Российского Общевоинского союза), которые, дескать, «уже не впервые посылают своих эмиссаров в Советский Союз с целью совершения террористических актов».

Столь определенные заявления, особенно казнь 104-х белогвардейских террористов, заставляли думать, что участие русских эмигрантских организаций в убийстве Кирова полностью установлено следственными органами. Однако на шестнадцатый день после убийства (как по мановению волшебной палочки) картина полностью изменилась. Новая версия, появившаяся в советских газетах, возлагала ответственность за убийство Кирова теперь уже на троцкистско-зиновьевскую оппозицию. В один и тот же день, словно по команде, газеты открыли ожесточенную кампанию против лидеров этой уже отошедшей в прошлое оппозиции. Зиновьев, Каменев и многие другие бывшие оппозиционеры были арестованы. Близкий в те дни к Сталину журналист Карл Радек писал в «Известиях»: «Каждый коммунист знает, что теперь партия раздавит железной рукой остатки этой банды... Они будут разгромлены, уничтожены и стерты с лица земли!»

Ненависть Сталина к бывшим лидерам оппозиции была хорошо известна. Поэтому в социалистических кругах за рубежом начали выражать опасение, как бы он не использовал смерть Кирова в качестве предлога для расправы с Зиновьевым и Каменевым. Некоторые иностранные газеты пустили слух, что Зиновьев и Каменев уже тайно казнены. Советские власти сочли необходимым опровергнуть эти слухи, а 22 декабря последовало сообщение ТАСС о том, что «ввиду недостатка улик» дело Зиновьева и Каменева будет рассматриваться не судом, а «Особым совещанием при НКВД СССР».

Итак, на протяжении немногим более двух недель советское правительство опубликовало две прямо противоположные версии убийства Кирова, – сначала обвинив в этом белогвардейцев, проникших из-за рубежа, а затем бывших вожаков оппозиции. Естественно, советские граждане с нетерпением ожидали судебного процесса, надеясь услышать, что скажет на суде сам Николаев.

Однако им не суждено было это узнать. 28 декабря было официально опубликовано обвинительное заключение, где утверждалось, что Николаев и тринадцать других лиц являлись участниками заговора, а уже на следующий день газеты сообщили, что все четырна-

дцать были приговорены к смертной казни на закрытом судебном заседании, и приговор приведен в исполнение. Ни в обвинительном заключении, ни в тексте приговора ни словом не упоминалось о какой-либо причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова.

То обстоятельство, что Николаева судил тайный трибунал, еще более усиливало всеобщее недоверие к официальной версии событий, возникшее из-за противоречивых правительственных заявлений. Вставал вопрос: что помешало погасить бродившие в народе слухи, поставив Николаева перед публичным судом? Никто не сомневался, что Кирова убил именно этот человек, схваченный на месте преступления. К чему же вся эта секретность? Что в этом деле было такого, что Сталин не мог вынести на открытый судебный процесс?

В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить обо всем этом только по официальным сообщениям, появлявшимся в московских газетах. Но с самого начала я был уверен, что дело нечисто: не заслуживали доверия ни первая («белогвардейская») версия Кремля, ни версия о виновности Зиновьева и Каменева.

Первую версию я не мог принять всерьез потому, что она содержала басню о ста четырех казненных белогвардейских террористах. Как бывший начальник погранохраны закавказских республик я прекрасно знал, что через строго охраняемые границы СССР террористы просто не могли нагрянуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жесткой советской паспортной системы и всеохватывающего полицейского надзора сто четыре террориста никак не могли одновременно скрываться в Ленинграде. Все это выглядело тем более подозрительно, что, вопреки обыкновению, газеты, сообщая об их казни, не упоминали даже их имен.

Другая версия – об участии Зиновьева и Каменева в убийстве Кирова – была не менее абсурдной. Из истории партии я отлично знал, что большевики всегда были против индивидуального террора и не прибегали к террористическим актам даже в борьбе против царя и его министров. Они считали подобные методы неэффективными и порочащими революционное движение. А кроме того, Зиновьев и Каменев не могли не отдавать себе отчета в том, что убийство Кирова было бы на руку именно Сталину, который не преминет воспользоваться им для уничтожения бывших вожakov оппозиции. Так и случилось.

23 января 1935 года, почти через месяц после расстрела Николаева, в газетах было объявлено, что начальник ленинградского управления НКВД Филипп Медведь, его заместитель Запорожец и десять других энкаведистов на закрытом заседании Верховного суда приговорены к лишению свободы по обвинению в том, что, «получив сведения о готовящемся покушении на С.М. Кирова... не приняли необходимых мер для предотвращения убийства».

Приговор поразил меня своей необычной мягкостью. Только один из подсудимых получил десятилетний срок заключения; все же остальные, включая самого Медведя и его заместителя Запорожца, получили от двух до трех лет. Все это выглядело тем более странным, что убийство Кирова должно было рассматриваться Сталиным как угроза не только его политике, но и ему лично: если сегодня НКВД прохлопал Кирова, завтра в такой же опасности может оказаться он сам. Каждый, кто знал Сталина, не сомневался, что он наверняка прикажет расстрелять народного комиссара внутренних дел Ягоду и потребует казни всех, кто нес ответственность за безопасность Кирова. Он должен был так поступить хотя бы в назидание другим энкаведистам, чтобы не забывали, что за гибель вождей они в прямом смысле слова отвечают головой.

Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично выехать в Ленинград. Я прекрасно знал, как относился он к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в такой беспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда вон выходящее.

Необычайную осторожность Сталина и его постоянный страх за собственную жизнь лучше всего иллюстрируют такие примеры.

Известно, что во время официальных торжеств на Красной площади Сталин появлялся на мавзолее, охраняемый отборными воинскими частями и массой телохранителей из НКВД. Тем не менее под кителем он всегда носил массивный пуленепробиваемый жилет, специально изготовленный для него в Германии.

Чтобы быть уверенным в собственной безопасности во время частых поездок в загородную резиденцию, Сталин потребовал от НКВД выселить три четверти жителей улиц, по которым он проезжал, и предоставить освободившиеся комнаты сотрудникам НКВД. 35-километровый сталинский маршрут от Кремля до загородной дачи днем и ночью охранялся сотрудниками «органов», дежурившими здесь в три смены, каждая из которых насчитывала тысячу двести человек.

Сталин не рисковал свободно передвигаться даже по территории Кремля. Когда он покидал свои апартаменты и переходил, например, в Большой кремлевский дворец, охранники усердно разгоняли прохожих с его пути, невзирая на их чины и должности.

Ежегодно, отправляясь на отдых в Сочи, Сталин распоряжался подготовить одновременно его персональный поезд в Москве и соответствующий теплоход – в Горьком. Иногда он предпочитал уезжать непосредственно из Москвы – в таком случае использовался поезд, в других случаях – спускался по Волге до Сталинграда, а уже оттуда поезд, тоже специальный, доставлял его в Сочи. Никто не знал заранее ни того, какой вариант выберет Сталин на этот раз, ни дня, когда он пустится в путь. Его специальный поезд и специальный теплоход по несколько дней стояли в полной готовности, но только в последние часы перед выездом он наконец сообщал доверенным лицам, какой вариант избирает на сей раз. Перед его бронированным поездом и следом за ним двигались два других поезда, заполненные охраной. Сталинский поезд был так оборудован, что мог выдержать двухнедельную осаду. В случае тревоги его окна автоматически закрывались броневыми ставнями.

Объявив себя вождем рабочего класса, Сталин никогда не бывал в рабочее время ни на одном из заводов, боясь встречаться лицом к лицу с рабочими.

Можно было привести множество других примеров сталинской, мягко выражаясь, осторожности. Вот почему я с трудом поверил сообщению, что Сталин рискнул отправиться в Ленинград, где только что действовала опасная террористическая организация и где органам НКВД не удалось уберечь Кирова. Уже сам факт сталинской поездки заставлял думать, что убийство Кирова было делом рук одиночки и что вся эта версия о раскрытой террористической организации является выдумкой.

Тайна убийства Кирова прояснилась для меня по возвращении в Советский Союз, в конце 1935 года. Прибыв в Ленинград через Финляндию, я зашел в здание НКВД, чтобы связаться по специальному телефону с Москвой и заказать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных руководителей ленинградского управления НКВД, с которым мы вместе служили в Красной армии в гражданскую войну. В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, которые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяснилось, что бывший начальник ленинградского управления НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговоренные по «кировскому делу» к тюремному заключению, вовсе и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина, их назначили на руководящие посты в тресте «Лензолото», занимавшемся разработкой богатейших золотых приисков в Сибири. «Им там живется совсем неплохо, хотя, конечно, похуже, чем в Ленинграде, – сообщил мой старый приятель. – Медведю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак». Он добавил, что капризная жена Медведя уже трижды побывала у него в Сибири, каждый раз намереваясь остаться там с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленинград. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдельное купе первого класса и полный штат obsługi.

Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ленинград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом. В следствии по этому делу он помогал начальнику Экономического управления НКВД Миронову и заместителю народного комиссара внутренних дел Агранову.

Перед тем как возвратиться в Москву, Сталин назначил Миронова временно, на ближайшие месяцы, исполняющим обязанности начальника ленинградского управления НКВД и фактически ленинградским диктатором. Когда я спросил, как это Николаеву удалось проникнуть в строго охраняемый Смольный, мой приятель ответил: «Именно поэтому и были уволены Медведь и Запорожец. Хуже того: за несколько дней до убийства Николаев уже делал попытку пробраться в Смольный, его задержали, и если б тогда были приняты меры, Киров и по сей день оставался бы жив». Мне показалось, что разговор наш носит какой-то поверхностный характер: мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ничего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти; тогда он в замешательстве пробормотал: «Дело настолько опасное, что для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом».

Намек моего приятеля был гораздо более ценен для меня, чем остальная, весьма скудная информация, полученная тогда от него. Этот намек не только укрепил мои подозрения насчет того, что обе официальные версии фальшивы, но и показал мне, куда, по-видимому, ведут нити заговора. К тому времени вне критики поставил себя один-единственный человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесены эти слова: «для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом».

У меня не было сомнений, что в Москве мне удастся узнать правду о «кировском деле». Я рассчитывал на нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД столь высокие посты, что должны были представлять себе закулисную сторону этого убийства. Среди них был начальник Экономического управления НКВД Миронов, которого Сталин брал с собой в Ленинград для расследования убийства и который затем был оставлен в Ленинграде в качестве руководителя ленинградского управления НКВД, с полномочиями диктатора.

Миронов поступил на службу в органы государственной безопасности по моей рекомендации. В 1924 году, будучи заместителем начальника Экономического управления ОГПУ, я смог, правда, с немалым трудом, убедить Дзержинского назначить Миронова начальником одного из отделов этого управления. Дзержинский по понятным причинам противился назначению на ответственную должность человека совершенно нового для «органов». В дальнейшем, когда я был назначен командующим погранвойсками Закавказья, я договорился, что Миронов будет исполнять мои обязанности заместителя начальника Экономического управления ОГПУ. Благодаря своим способностям, несколько лет спустя Миронов возглавил это управление и сделался одним из ближайших помощников Ягоды – народного комиссара внутренних дел. Я был уверен, что от Миронова узнаю наконец всю правду о «деле Кирова».

Вскоре после приезда в Москву меня пригласил в гости начальник Транспортного управления НКВД Александр Шанин, близкий друг Ягоды и один из помощников члена Политбюро Кагановича, занимавшийся вместе с ним реорганизацией советских железных дорог. После обеда хозяин дома предложил послушать пластинки. Шанин был большим любителем старинных русских песен, а тут еще несколько рюмок ликера сделали его особенно сентиментальным. Показав на два альбома пластинок, Шанин сказал, что специально отложил их, чтобы послать Ване Запорожцу в его Лензолото «Ох, Ваня, Ваня, – вздохнул он, – что за человек был! Пострадал ни за что...» Шанин добавил, что Паукер, начальник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу в подарок импортный радиоприемник.

Тот факт, что Шанин и Паукер посылают Запорожцу подарки, показался мне весьма знаменательным. Оба знали, что любое проявление симпатии к осужденному ЦК считает

демонстрацией враждебных настроений. По неписаному правилу, установившемуся при Сталине, советские сановники немедленно порывали все отношения даже со своими ближайшими друзьями, как только те попадали в немилость (я уж не говорю – в тюрьму). Такие осведомленные сталинские приближенные, как Шанин и Паукер, конечно, усвоили это элементарное правило: следует одаривать и ублажать тех, кто успешно делает карьеру, и, наоборот, поскорее рвать с теми, чья карьера лопнула. Напрашивался единственно возможный вывод: Шанин и Паукер знали, что Запорожец вовсе не впал в немилость и посылка ему подарков отнюдь не компрометирует их.

Будучи в Москве, я действительно узнал подоплеку кировского дела, – притом быстрее, чем мог ожидать.

Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова начались конфликты с другими членами Политбюро. Киров, прямота которого была всем известна, на заседаниях Политбюро несколько раз принимался критиковать своего бывшего патрона Орджоникидзе за противоречивые указания, которые тот давал относительно промышленного строительства в Ленинградской области. Кандидата в члены Политбюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях, было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы реквизирует часть продовольствия из неприкосновенных запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то время народный комиссар обороны, выразил недовольство действиями Кирова, считая, что тот превышает свои полномочия, позволяя себе вмешиваться в дела военного ведомства.

Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошел на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для рабочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие у военных только взаймы, собираясь вернуть его, как только придут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чувствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объяснением и раздраженно заявил, что, перебрасывая продовольствие с воинских складов в фабричные лавки, Киров «ищет дешевой популярности среди рабочих». Киров вспыхнул от негодования и со свойственной ему горячностью ответил: «Если Политбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию, их прежде всего необходимо кормить! Каждому мужику известно, – продолжал он, срываясь на крик, – не накормишь лошадь – она воз и с места не сдвинет!» Микоян возразил, что, по его сведениям, ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране. Киров не мог отрицать этого. Но он привел цифры роста продукции ленинградских предприятий и заметил, что этими достижениями с избытком окупаются добавочные пайки рабочих.

«А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных?» – вмешался Сталин. Киров снова вышел из себя и закричал: «Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует!»

Эта кировская вспышка была расценена как проявление нелояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор, как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть, установилось неписаное правило: никто из членов Политбюро не должен выносить на обсуждение какой бы то ни было вопрос, не получив благословения Сталина.

Члены Политбюро ополчились против Кирова. Мелкие недоразумения искусственно раздувались и изображались как тяжелые преступления. Летом 1934 года Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности и влиятельный член Политбюро, вызвал к себе на совещание председателя Ленинградского исполкома и нескольких руководителей ленинградской промышленности. Они захватили с собой всевозможные отчеты и сметы и отправились в Москву, где провели два дня в приемной наркомата тяжелой промышленности. Орджоникидзе все было недосуг принять их, и совещание откладывалось со дня на день. На третьи сутки председатель Ленгорисполкома позвонил Кирову и сообщил ему о создав-

шемся положении. Решение Кирова не заставило себя ждать: «Если Орджоникидзе тебя и сегодня не примет, садись на поезд и езжай домой!» Председатель Ленгорисполкома так и сделал. Этот эпизод Орджоникидзе изложил на ближайшем заседании Политбюро. Распоряжение Кирова было расценено как «воспитывающее ленинградские кадры в духе партизанщины и неподчинения центру». Его попытки объяснить ситуацию ни к чему не привели. Не в состоянии более сдерживаться, он заявил: «Я и впредь всегда буду так поступать. Мои люди нужны мне в Ленинграде, нечего им прохлаждаться у Орджоникидзе в приемной!»

Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились до предела, и он старался реже бывать в Москве. Членов Политбюро и самого Сталина особенно злила все растущая популярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступления были вялыми и нудными. А Киров, напротив, славился своими блестящими речами, зная, как подойти к массам. Он был единственным членом Политбюро, не боящимся ездить по заводам и выступать перед рабочими. Сам когда-то рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколько мог, старался помочь. Многие партийные и промышленные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах, пытались добиться перевода в Ленинград: шел слух, что Киров поощряет инициативу своих подчиненных и выдвигает тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде был непрекращаем. Наркомы в Москве меньше значили для директоров ленинградских предприятий своей отрасли, чем Киров.

Огромная популярность Кирова еще больше возросла после семнадцатого съезда партии, который состоялся в самом начале 1934 года. К съезду все было намечено и расписано заранее – даже энтузиазм, с которым делегаты должны были приветствовать вождей. Каждому члену Политбюро, появляющемуся на трибуне, было положено две минуты аплодисментов. Сталину следовало аплодировать целых десять минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вызвало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствовала его с таким восторгом, что увлекла своим примером весь съезд. Киров был встречен овацией такой продолжительности, о какой другие члены Политбюро не могли и мечтать. В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал почет, который предназначался только одному человеку: Сталину.

Раздраженный чрезмерной независимостью Кирова, Сталин решил отозвать его из Ленинграда. Ему было объявлено, что его ждет назначение на ответственную должность в Москве, в Оргбюро ЦК.

Однако Киров не спешил в Москву. Он выгадывал месяц за месяцем, ссылаясь на то, что необходимо довести до конца ряд важных дел в Ленинграде, начатых при нем. Более того, он все реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что выглядело уже вызывающе.

Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во время любого из его приездов и воспрепятствовать его возвращению в Ленинград. Но это означало бы открытую ссору, после которой было бы крайне затруднительно назначить Кирова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать Кирова в Москве против его воли было не так легко – разве что арестовать его? Однако тогда, в 1934 году, по отношению к члену Политбюро подобные действия были крайне нежелательны. Отстранение члена Политбюро все еще требовало сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью, пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обвинение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклонении от генеральной линии партии и развязать против него кампанию критики, которая должна охватить все партийные организации. В данном случае такой путь был для Сталина неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппозиции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистившись от ереси, партия окрепла и сделалась «сплоченной и монолитной как никогда». Но кампания, направленная против Кирова, наверняка вызовет слухи о

новом расколе в партии и о разногласиях в Политбюро. При этом Сталин понимал, что и за рубежом опять появятся сомнения в прочности его режима, чего он никак не хотел.

Он пришел к выводу, что сложная проблема, вставшая перед ним, может быть разрешена лишь одним путем. Киров должен быть устранен, а вина за его убийство возложена на бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом он убьет двух зайцев. Вместе с ликвидацией Кирова будет покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые, как бы ни чернил их Сталин, продолжали оставаться в глазах рядовых партийцев символом большевизма. Сталин решил, что, если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова, «верного сына нашей партии», члена Политбюро, – он вправе будет потребовать: кровь за кровь.

Единственной частью государственного аппарата, которая могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, являлось ленинградское управление НКВД, отвечавшее за безопасность Кирова. Но начальником этого управления был Филипп Медведь, связанный с Кировым тесной дружбой. Медведя следовало убрать и заменить другим человеком, «более надежным». У Сталина был на примете такой человек: Евдокимов, давний сотрудник «органов». Несколько лет подряд Сталин брал его с собой в отпуск – не только в качестве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника. Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой другой энкаведист. Это была странная личность с застывшим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих коллег. В прошлом заурядный уголовник, Евдокимов вышел из тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской партии и отличился в гражданской войне. Когда война закончилась, Евдокимов был назначен начальником областного управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял карательные операции против антисоветских повстанческих банд.

По распоряжению Сталина Ягода издал приказ о переводе Медведя из Ленинграда в Минск и назначении Евдокимова на его место. Узнав об этом, Киров пришел в негодование. В присутствии Медведя он позвонил Ягоде и без обиняков начал допытываться, кто дал ему право перемещать ответственных ленинградских работников без разрешения ленинградского обкома. Затем Киров позвонил Сталину и опротестовал недопустимый образ действий Ягоды. Приказ о переводе Медведя из Ленинграда пришлось отменить.

Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ничего не получилось, у Сталина не было иного выбора, как обратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные планы, касавшиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленинграда своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который в то время был заместителем Медведя. Они посетили Сталина вдвоем. Избежать личного разговора Сталина с Запорожцем было нельзя: последний никогда не взялся бы за такое чрезвычайное задание, касающееся члена Политбюро, если бы оно исходило всего лишь от Ягоды и не было санкционировано самим Сталиным. Получив сталинский наказ, Запорожец вернулся в Ленинград.

Как раз в это время среди бумаг, поступающих в ленинградское отделение НКВД, оказалось секретное донесение, касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Николаев. Этот Николаев был так обозлен тем, что его исключили из партии и связанной с этим невозможностью устроиться на работу, что у него появилась мысль об убийстве председателя комиссии партийного контроля. Этим актом доведенный до отчаяния Николаев намеревался выразить свой протест против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал.

Донос на Николаева поступил в «органы» от его друга, которому он имел неосторожность рассказать о своих намерениях. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Закономерным было и то, что Запорожец, озабоченный полученным в Москве заданием, заинтересовался личностью Николаева. Встретившись с его «другом» и поговорив с ним, он пришел к выводу, что слова Николаева не приходится считать пустой болтовней. Дело при-

няло еще более серьезный оборот, когда «друг» выкрал и принес Запорожцу дневник Николаева.

Дневник был сфотографирован и снова подброшен туда, откуда был украден. На его страницах Николаев подробно описывал свои злоключения: как он был беспричинно «вычищен» из партии, какое бездушное отношение встречал со стороны партийных чинов, когда пытался добиться справедливости, как его уволили с работы и до какой жуткой нищеты докатилась его семья — двое детей, жена и мать. Записи дневника были полны клокочущей ненависти к бюрократической касте, воцарившейся в партии и государственном аппарате.

Чтобы получить возможно более полное представление о личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с ним. Все тот же «друг» организовал ему якобы случайную встречу с Николаевым, представив Запорожца под вымышленным именем, как своего бывшего сослуживца. Поболтав о том, о сем, они расстались. Николаев произвел на Запорожца благоприятное впечатление. Теперь «другу» была поставлена новая задача: попытаться еще более сблизиться с Николаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы денег, прикинуться разделяющим его взгляды — и, конечно, сообщать НКВД о каждом его шаге. Сам Запорожец поспешил в Москву поделиться соображениями о том, как лучше использовать подвернувшийся случай. Там он еще раз был принят Сталиным.

В Москве было решено, что Николаев подходит для реализации намеченного плана. Главное преимущество этого варианта заключалось в том, что Николаев напал на мысль о террористическом акте самостоятельно и вдобавок не подозревает, что с какого-то момента его действия косвенно направляются аппаратом НКВД.

Инструкции, полученные Запорожцем, сводились к одному: постараться перевести террористические замыслы Николаева с некоего члена партийной контрольной комиссии, исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока Запорожец отсутствовал, николаевский замысел превратился в неотвязную манию: его поступок станет сигналом к восстанию против ненавистной партийной бюрократии. «Друг» Николаева предупредил Запорожца, что их подопечный делает попытки раздобыть огнестрельное оружие.

Услышав об этом, Запорожец выразил «другу» опасение, что Николаев, чего доброго, действительно застрелит какого-то работника партконтроля, не имеющего, разумеется, личной охраны. Между тем НКВД намерено взять террориста с поличным, непосредственно перед тем, как он попытается совершить террористический акт. Это удастся сделать, не допуская кровопролития, только в том случае, если Николаев откажется от покушения на какую-то незначительную персону и попытается убить, ну, допустим, Кирова, что заведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и ночью. Как только Николаев с револьвером в кармане проникнет, в здание Смольного, его тут же схватят сотрудники НКВД, которые специально будут его поджидать. А от «друга» требуется теперь только одно: внушить Николаеву, что убийство какого-то незначительного чиновника из партконтроля не даст заметного политического эффекта. Зато выстрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по всей стране.

Леонид Николаев, как и следовало ожидать, ухватился за идею совершить террористический акт против Кирова. Теперь единственным препятствием к исполнению намеченного было отсутствие револьвера. Николаев рассчитывал украсть револьвер у кого-то из знакомых партийцев. Выяснилось, что в этом нет необходимости: «друг», последнее время так часто приходивший Николаеву на помощь, ссужавший его деньгами, вынул и тут. Ему удалось «добыть» револьвер... В основном все необходимые приготовления были позади. С помощью «друга» Николаев придумал предлог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправились за город — проверить оружие в действии.

Наконец настал решающий день: Николаев, с портфелем в руках, явился в Смольный и получил пропуск в комендатуре НКВД, ведавшей охраной здания. У входа в главный кори-

двор Смольного охранники заглянули в пропуск и разрешили Николаеву войти. Но не успел он сделать и двух шагов, как один из них вернул его и потребовал показать, что в портфеле. Там лежал револьвер и записная книжка. Николаева, тут же задержали и препроводили в комендатуру. Уже за одно хранение огнестрельного оружия без специального на то разрешения полагалось три года тюрьмы. А если бы еще работники смольнинской комендатуры заглянули в его записную книжку – сразу выяснилась бы истинная цель Николаева, приведшая его в Смольный...

Но прошел час или два – и все чудодейственно переменялось: злоумышленнику вернули револьвер и записную книжку и предложили покинуть здание Смольного.

Пораженный происшедшим, Николаев прибежал к своему «другу» и все ему рассказал. Тот не мог прийти в себя от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что случилось, живым и невредимым.

Происшествие в Смольном было для Запорожца малоприятной неожиданностью. Выходит, он не сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить Николаеву свободный доступ к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот день получит информацию о результате покушения. Теперь всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на Запорожца.

Когда ему сообщили о происшествии, он приказал коменданту Смольного освободить задержанного и вернуть ему портфель, револьвер и записную книжку. Еще оставалась надежда, что Николаева удастся направить в Смольный вторично, на этот раз избежав промаха. Все зависело от дальнейшего поведения Николаева.

А тот был крайне угнетен своей неудачей. В подавленном состоянии он выслушивал рассуждения «друга» о том, что надо бы сделать еще одну попытку... Однако это продолжалось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал поговаривать о повторении попытки покушения. К нему вернулось прежнее чувство уверенности. «Друг», следуя инструкциям Запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смольный в вечернее время.

Вечером 1 декабря 1934 года Николаев вторично появился в Смольном – с тем же самым портфелем, где вновь лежали записная книжка и револьвер. На этот раз Запорожец все предусмотрел. Получив пропуск, Николаев благополучно миновал охранников у входа и без помех вошел в коридор. Там никого не было, кроме человека средних лет, по фамилии Борисов, который числился личным помощником Кирова. В перечне работников Смольного он фигурировал как сотрудник специальной охраны НКВД, однако не имел ничего общего с охранной службой.

Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и стаканами чая, чтобы нести его в зал заседаний, где как раз собралось бюро обкома. Заседание бюро шло под председательством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал, Борисов сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлевскому телефону. Спустя минуту Киров поднялся со стула и вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь.

В тот же момент грянул выстрел. Участники заседания бросились к двери, но открыть ее удалось не сразу: мешали ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров был убит наповал. Тут же распростерлось тело другого человека, не известного членам бюро. Это был потерявший сознание Николаев.

Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме убитого и убийцы, в коридоре не было ни души. Члены бюро были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутствовал даже кировский охранник. Прошло немного времени, и в коридоре появились сотрудники НКВД, прибывшие арестовать Николаева.

## 2

Сталин и Ягода были извещены об убийстве Кирова немедленно. Спустя некоторое время Ягода позвонил начальнику Ленинградского управления НКВД Медведю и сообщил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Сталина.

Запорожец выполнил порученное ему задание. Но его роль на этом не кончилась. В ленинградском управлении НКВД никто, кроме него, не имел понятия, что, по замыслу «хозяина», террористический акт против Кирова должен был в конечном счете привести к осуждению Зиновьева и Каменева. Запорожец знал, что Сталин, появившись здесь, наверняка захочет повидать Николаева, чтобы определить, годится ли тот для открытого судебного процесса. Необходимо было срочно получить от Николаева соответствующее «признание». В этом случае, как только Сталин прибудет, можно будет положить перед ним показания, в которых Николаев чистосердечно заявляет, что убил Кирова по прямому указанию Зиновьева и Каменева.

Запорожец мобилизовал всю свою энергию, чтобы вырвать у Николаева такое признание, пока Сталин находится еще в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопротивления со стороны убийцы. По опыту работы в НКВД он знал, что даже ни в чем не повинный человек, ошеломленный арестом и деморализованный неуверенностью в судьбе близких, остающихся на свободе, становится в руках следователей крайне податливым и склонен подписать все, в чем его обвиняют. Ну а Николаев только что совершил чудовищное преступление – убил члена Политбюро. Теперь он был близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обращаясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично против Кирова и совершил террористический акт в минуту отчаяния. От своего «друга» Запорожец узнал, что Николаев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого было достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание.

Мешала, правда, небольшая неувязка. Месяца за два до покушения «друг» познакомил Николаева с Запорожцем, представив последнего так: «Мой приятель, тоже рабочий человек». Теперь, если Николаев опознает этого «приятеля-рабочего» в заместителе начальника ленинградского НКВД, ему станет ясно, что «друг» – энкаведистский провокатор. Он сможет сопоставить ряд фактов – звеньев обдуманного заговора, выстраивающих цепь, – как бы это не завело слишком далеко! Здравый смысл должен был подсказать Запорожцу, что лучше передать Николаева кому-нибудь из коллег, который и выжмет из арестованного требуемое признание. Но Запорожец не был склонен уступать заслуженные им лавры кому бы то ни было. Он жаждал во что бы то ни стало сам добиться от Николаева показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, и доложить о них Сталину. Приходилось игнорировать то неприятное обстоятельство, что они с Николаевым уже однажды встречались. Встреча была вроде случайной, и оставалось надеяться, что Николаев, подавленный дальнейшими событиями, просто не узнает Запорожца, тем более что тот будет в форме НКВД.

Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, Запорожец решил действовать без промедления и распорядился доставить арестованного к нему.

Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком энкаведистском начальстве своего случайного знакомого и понял, что стал жертвой политической провокации. Запорожец обманулся в своих расчетах. Перед ним предстал не жалкий неврастеник, согнувшийся под тяжестью страшного преступления и ареста, а упрямый и бесстрашный фанатик. Николаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея против Кирова лично, он все же доволен, что ему удался этот террористический акт, открывающий эру борьбы с привилегированной кастой партийных бюрократов.

Этот разговор закончился трагикомической сценой. Из кабинета Запорожца послышался крик, дверь кабинета рывком распахнулась, и Запорожец выскочил в приемную, преследуемый Николаевым с поднятым над головой стулом. Николаева тут же схватили и отправили обратно в тюрьму.

Спустя некоторое время надзиратели услышали странный звук, доносившийся из николаевской одиночки. Николаев вновь и вновь бросался на стену, ударяясь в нее головой. В его положении не было другой возможности поскорее покончить счеты с жизнью. Вероятно, он полагал, что заодно он избавляет и свою семью от перспективы следствия с применением пыток. Его пришлось связать и перевести в другую камеру, стены которой были обложены тюфяками. Отныне дежурство в камере нес особо доверенный сотрудник НКВД. На рассвете следующего дня Запорожец снова пытался завязать разговор с Николаевым, но из этого опять ничего не вышло: Николаев прямо-таки пылал к нему ненавистью – какие уж тут разговоры!

Появление Сталина в Ленинграде было большим событием. Ему был отведен в Смольном целый этаж и сверх того с десятков комнат выделено во внушительном здании НКВД. Эти помещения были полностью изолированы от всех остальных.

Сталин немедленно принялся за дело. Первым, кого он вызвал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинградского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой формальностью – Сталин прекрасно знал, что тому ничего не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фактов. Медведь был быстро отпущен, и сразу же последовал вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз больше часу, после чего распорядился доставить Николаева.

Его разговор с Николаевым происходил в присутствии Ягоды – народного комиссара внутренних дел, Миронова – начальника Экономического управления НКВД, и оперативника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войдя в комнату, остановился у порога. Голова его была забинтована. Сталин сделал ему знак подойти ближе и, всматриваясь в него, задал вопрос, прозвучавший почти ласково:

– Зачем вы убили такого хорошего человека?

Если б не свидетельство Миронова, присутствовавшего при этой сцене, я никогда бы не поверил, что Сталин спросил именно так, – настолько это было не похоже на его обычную манеру разговора.

– Я стрелял не в него, я стрелял в партию! – упрямо отвечал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего трепета перед Сталиным.

– А где вы взяли револьвер? – продолжал Сталин.

– Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорожца! – последовал дерзкий ответ. Лицо Сталина позеленело от злобы. «Заберите его!» – буркнул он.

Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обернулся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолкнули за дверь.

Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Миронова, бросил Ягоде: «Мудак!» Не заставляя себя специально просить, Миронов направился к выходу. Несколько минут спустя Ягода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать Запорожца. Тот оставался наедине со Сталиным не более четверти часа. Выскочив из этой зловещей комнаты, он зашагал по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавшего сидеть в приемной.

Дело Николаева окончилось полным провалом.

«Друг», оказавшийся агентом Запорожца, подбивал его проникнуть в Смольный, тот же «друг» достал ему револьвер – и Николаева уже не оставляло подозрение, что НКВД сам подстрекал его убить Кирова.

Значит, нечего было и думать об открытом суде по «делу об убийстве Кирова». Если бы даже и удалось заручиться обещанием Николаева давать показания против Зиновьева и

Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного протеста, которое толкнуло Николаева на террористический акт, не овладеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству. Сталин не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось потропить НКВД с организацией закрытого процесса, где Николаев предстал бы перед тайным трибуналом.

В то же время следовало что-то объяснить народу относительно убийцы Кирова. Безусловно, Сталин не мог объявить, что молодой коммунист действовал в одиночку и по собственной инициативе, протестуя против засилья бюрократического режима, установленного партией. Выгоднее было представить его ставленником русских белогвардейцев. Так появился на свет миф о белоэмигрантах, которые якобы пробрались в СССР из Польши, Литвы и Финляндии для организации террористических актов.

Сталин, конечно, постарался замести следы топорной работы Запорожца. Прежде всего, он распорядился ликвидировать «друга», не потрудившись даже допросить его. Затем были вызваны заместители Кирова, у которых следовало выведать, не слишком ли многое им известно об этом деле. Но они оказались людьми искушенными и сообразили, что выказывать свою осведомленность или проницательность в данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насторожила только одна деталь: услышав выстрел и выскочив из зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного кировского охранника поблизости почему-то нет, да и Борисов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесследно исчез. Они его никогда больше не встречали...

В общем-то в таинственном исчезновении Борисова не было ничего сверхъестественного. Он был арестован Запорожцем как знавший кое-что о роли НКВД в организации убийства. Не могу судить, что именно было известно Борисову, но сам этот факт неприятно поразил меня. Дело в том, что Борисов был известен своей абсолютной преданностью Кирову и, казалось бы, не должен был сознательно подыгрывать Запорожцу в ущерб своему «хозяину».

Сталин знал, что Борисов арестован и находится в Большом доме. Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл в это здание и потребовал привести Борисова. Их разговор был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталин сразу же избавился от двух свидетелей.

Сталинский поезд увез тело Кирова в Москву. Гроб для прощания с убитым установили, как было принято, в Колонном зале Дома Союзов. Газеты сообщали, что Сталин, стоя в почетном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и поцеловал мертвого. Как бывший ученик духовной семинарии он в этот момент не мог не сознавать, что напрашивалась параллель между этим его поцелуем и поцелуем Иуды Искарота, запечатленным на лице Христа.

То обстоятельство, что Запорожец так неуклюже выполнил порученное ему тайное задание и что НКВД оставил следы своего участия в убийстве Кирова, заставило Сталина сначала отказаться от идеи обвинить в этом убийстве бывших вождей оппозиции. Но Сталин всегда отступал лишь на время. Поспешно расстреляв непосредственного убийцу и тайно уничтожив опасных свидетелей – посторонних, знавших или подозревавших о роли НКВД в этом преступлении, – Сталин вновь обрел спокойствие и принял решение вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это произошло очень скоро, можно судить хотя бы по тому, что официальная пресса, вначале объявившая, что убийство Кирова – дело рук белогвардейских террористов, вдруг изменила тон. Еще бы – в связи с этим убийством Сталин прямо распорядился привлечь к ответственности Зиновьева, Каменева и других бывших лидеров оппозиции.

На закрытом судебном процессе, состоявшемся 15 января 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем не

менее, под давлением членов военного трибунала и в результате неотступных домогательств Ягоды, на которого в свою очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласились признать, что они несут «политическую и моральную ответственность» за убийство, в то же время отрицая какую-либо причастность к нему. На этом шатком основании им вынесли обвинительный приговор и осудили обоих на пять лет лагерей.

## Постоянные козыри Сталина

### 1

Этот процесс был первым в целой серии громких судебных процессов, направленных на уничтожение почти всех основателей большевистской партии и вождей Октября. Отныне убийство Кирова фигурировало на каждом крупном политическом процессе и каждый раз вменялось в вину все новым группам обвиняемых.

Многие критики этих, так называемых московских, процессов считали, что сталинское решение истребить старых большевиков объясняется его неутолимой жадой мести этим людям. Мести за то, что они не соглашались с его политикой. За то, что настаивали на выполнении ленинского завещания, где предлагалось сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии. Невольно приходила на ум сталинская концепция «сладости мщения» — он высказал ее как будто в дружеской беседе с Каменевым и Дзержинским. Дело было летним вечером 1923 года, задолго до всех этих процессов. «Выискать врага, — будто бы открывничал Сталин, — отработать каждую деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения — и затем пойти отдыхать... Что может быть слаще этого?..»

Конечно, нет ничего удивительного в том, что Сталиным владели подобные изуверские мысли. Ведь он родился и вырос на Кавказе, где кровная месть существовала на протяжении столетий и встречается даже теперь. Так что не приходится сомневаться, что жажда мести играла немалую роль при уничтожении Сталиным большевистской «старой гвардии». Тем не менее, не в одной мести тут дело. Сталин был прежде всего реалистом в политике и руководствовался трезвым расчетом. Известно много случаев, когда он подчинял этому расчету свои чувства и эмоции. На пути к власти он неоднократно поступался своим самолюбием, высказываясь в пользу собственных врагов, притом наиболее ненавидимых. И, напротив, не считался даже с самыми близкими друзьями, когда это казалось ему выгодным. Так, несмотря на застарелую ненависть к Троцкому, он счел целесообразным в первую годовщину революции воздать ему должное — притом не где-нибудь, а в газете «Правда» — как главному руководителю Октябрьского восстания, которому партия обязана тем, что петроградский гарнизон практически без сопротивления перешел на сторону большевиков. Как видим, Сталин сумел тогда глубоко затаить жгучую ненависть к своему опасному сопернику. С тем большей силой она проявилась потом — и в конечном счете погубила Троцкого.

С другой стороны, узы многолетней дружбы не помешали Сталину уничтожить Буду Мдивани и Сергея Кавтарадзе, оказавшихся в оппозиции к его политическому курсу.

Бухарин, лучше чем кто-либо другой знавший Сталина-политика, тоже подчеркивал его чрезвычайно мстительный характер. Впрочем, главной сталинской чертой он считал неутолимую жажду власти. В 1928 году, когда Бухарин еще оставался членом Политбюро и главой Коминтерна, он как-то втихомолку, ночью, зашел повидаться с Каменевым, чтобы выразить тому свою поддержку в обстановке коварных сталинских интриг. Говоря с Каменевым, Бухарин охарактеризовал Сталина такими словами: «Он беспринципный интриган, все на свете подчиняющий своей жадности власти... Он всегда готов сменить свои взгляды, если считает, что это поможет ему избавиться от кого-либо из нас... Его интересует только власть. Пока что он, чтобы остаться у власти, делает нам уступки, но потом передует нас всех... Сталин умеет только мстить, вечно держит кинжал за пазухой. Нам бы следовало помнить его мысль насчет "сладости мщения"!»

Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что оно не предназначалось для митинга или собрания, не преследовало цели произвести впечатление, а было высказано с глазу на глаз человеку, который и сам достаточно хорошо знал Сталина.

Сталинское решение уничтожить большевистскую «старую гвардию» логически вытекало из всей истории его борьбы за власть. Он довольствовался ссылкой предводителей оппозиции в Сибирь и заключением их в лагерь лишь на то время, пока был занят укреплением режима собственной диктатуры. Как только эта цель оказалась достигнутой, и он счел свое положение достаточно прочным, чтобы безнаказанно сжить со свету потенциальных соперников, – они были уничтожены, покинув политическую арену окончательно и навсегда.

Убийство Кирова, которое Сталину было необходимо для обвинения и ликвидации старых большевиков, не случайно было запланировано им на 1934 год. В этом году страна как раз начала выкарабкиваться из глубокого кризиса, в который она была ввергнута авантюристическими сталинскими методами индустриализации и коллективизации. Кстати, мало кто знает сейчас, что идея такой коренной перестройки экономики первоначально принадлежала Троцкому. Тогда Сталин решительно выступал против нее. Дошло до того, что на заседании ЦК он заявил, что для советской России строить Днепрогэс – то же самое, как если бы русский деревенский мужик вознамерился купить граммофон вместо коровы. Однако в дальнейшем, объявив оппозиционеров вне закона, он изменил свое отношение к их идеям и, более того, начал выдавать их за свои. Притом, если Троцкий настаивал на постепенной коллективизации сельского хозяйства по мере того, как промышленность сможет поставлять машины, необходимые для эффективной работы крупных колхозов, – Сталин решил провозгласить «сплошную коллективизацию». В этой области, как и во многих других, Сталин стремился выказать себя еще более последовательным и бескомпромиссным революционером, чем даже Троцкий!

Действуя и здесь привычными методами террора и принуждения, Сталин отказывался признать ту простую истину, что кнут не заменит тракторов и комбайнов. Сопротивление крестьянства коллективизации поставило страну на грань экономической катастрофы. Сталин ответил массовыми репрессиями, которые в свою очередь вызвали в ряде областей настоящие восстания сельского населения. На Северном Кавказе и в некоторых областях Украины в их подавлении участвовали вооруженные силы, вплоть до военной авиации.

Впрочем, Красная армия сама в значительной мере состояла из сыновей крестьян, которые понимали: в то время, как они подавляют восстание в одной части страны, в другой ее части армейские подразделения точно также брошены против их отцов и братьев. Неудивительно, что было много случаев перехода мелких подразделений армии на сторону восставших крестьян. На том же Северном Кавказе одна из авиационных эскадрилий отказалась вылететь на подавление восставших казачьих станиц. Она была немедленно расформирована, а половина ее личного состава расстреляна. Один из сталинских приспешников, Акулов, назначенный заместителем начальника ОГПУ, был вскоре снят как не обеспечивший своевременной помощи со стороны ОГПУ одному из полков, попавшему в окружение: восставшее казачье население расправилось с этим полком, не оставив в живых ни одного человека. Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ, отвечавший за подавление восстаний и проведение карательных операций, докладывал на заседании Политбюро, что в реках северного Кавказа плывут по течению сотни трупов – так велики были потери воинских подразделений. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч – отправлены в ссылку, в сибирские и казахстанские концлагеря, где их ждала медленная смерть.

Еще одним следствием массовой коллективизации был голод, охвативший бывшую житницу Европы – Украину, а также Кубань, Поволжье и другие районы страны. Даже те ино-

странные журналисты, что обычно одобряли сталинскую политику, оценивали количество жертв голода в пять-семь миллионов человек... Согласно подсчетам ОГПУ в докладе, предназначенном для Сталина, число умерших голодной смертью составляло 3,3–3,5 миллиона. Причиной этого страшного мора были не какие-то природные стихии, неподвластные человеку, а безумие и произвол диктатора, неспособного предвидеть последствия своих действий и равнодушного к страданиям народа. Пресса Запада справедливо окрестила это бедствие «организованным голодом».

По стране бродили сотни тысяч бездомных детей и подростков, чьи родители умерли с голоду, были расстреляны или сосланы. Уделом детей стали попрошайничество и воровство. Для контроля за перемещениями взрослого населения была срочно введена паспортная система. Возникла сеть так называемых закрытых распределителей, снабжавших сталинскую бюрократию продовольствием и другими товарами в условиях всеобщего разорения и голода. Эти распределители еще больше увеличили ненависть народа к правящей клике и поддерживавшему ее слою. Привилегированные лица могли купить здесь за тот же самый советский рубль в 20–30 раз больше, чем рядовой гражданин в обычном магазине.

Советские газеты не отзывались на страшный голод, поразивший страну, ни единой строкой. Они были заполнены крикливыми сообщениями об успехах индустриализации и восхвалениями «мудрого и любимого» Сталина. Цензура ужесточилась до предела. Корреспондентам иностранной прессы было запрещено выезжать за пределы Москвы и ее окрестностей.

Сталинское руководство предприняло отчаянные усилия, чтобы создать впечатление некоего благосостояния хотя бы в столице – напоказ иностранным дипломатам и журналистам поезда с продовольствием, предназначенным для тех или иных, областей страны, нередко «конфисковывались» по дороге: их заворачивали на Москву. Милиция выбивалась из сил, вылавливая бездомных детей, хватая их на улицах и отправляя в тюремные камеры. А в театрах, как ни в чем не бывало, ставились помпезные спектакли, и знаменитые балетные коллективы выступали с прежним блеском. Пир во время чумы!

В стране нарастало всеобщее озлобление против режима, захватившее уже и партийных активистов. Даже аппарат ОГПУ был деморализован сомнениями и страхом за будущее. Бывали дни, когда и Сталин не мог не чувствовать, как почва уходит у него из-под ног. С тревогой выслушивал он ежедневные доклады ОГПУ, где отмечался масштаб волнений в стране и оживление оппозиционных настроений среди партийной массы. В Высшей партийной школе ходили по рукам листки с изложением платформы троцкистов. В Горьковской школе политпросвещения и Московском пединституте распространялись копии ленинского «завещания», находившегося под запретом. На стенах заводских корпусов там и сям появились гневные надписи, направленные против Сталина.

Именно в эти критические дни, когда сталинская власть зашаталась, он, вероятно, и принял решение: если ему суждено пережить этот кризис и сохранить свою личную власть – в будущем следует избавиться от всех потенциальных соперников, которые сейчас злорадно ждут его падения.

## 2

Еще задолго, до убийства Кирова Сталин с помощью разнообразных политических махинаций и «силовых приемов» освободил себя от какого бы то ни было контроля со стороны партийных масс. В 1924 году, после смерти Ленина, он при поддержке Зиновьева и Каменева, напуганных огромной популярностью Троцкого, объявил так называемый «ленинский призыв в партию». В результате масса рабочих и служащих, которые в первый, самый тяжелый период революции держались в стороне от борьбы, хлынули теперь в партию, и партийцы, преданные революционным идеям, оказались разобщенными в пассивной среде новичков. В дальнейшем, на протяжении 1924–1936 годов, Сталин организовал одну за другой чистки партии, в ходе которых многие мыслящие и получившие боевую закалку коммунисты в условиях сталинского курса объявлялись ненадежными и лишались партбилетов. Вместо них в партию вовлекались советские служащие-бюрократы. В обмен на материальные блага и возможность карьеры они платили полным подчинением и готовы были выполнить любой приказ, исходивший сверху.

Особенно обескровили партию чистки, последовавшие за разгромом оппозиции. Внутрипартийные разногласия уже не разрешались путем дискуссий и голосования, как при Ленине, а пресекались карательными мерами ОГПУ. Малейшее проявление независимости со стороны члена партии оказывалось достаточным, чтобы лишить его партбилета и уволить с работы. Основным положительным качеством партийца стало слепое повиновение парткому, а не преданность программе партии, как прежде. В этих условиях большевистская партия, представлявшая собой при Ленине живой и мыслящий организм, постепенно деградировала до состояния бездушной машины, лишенной какого бы то ни было влияния на политическую жизнь страны.

Правда, несмотря на чистки, к 1934 году в партии все еще насчитывалось небольшое число старых большевиков, приспособившихся в той или иной степени к сталинскому режиму. Отстраненные от участия в политике, они со свойственной им энергией отдались участию в индустриализации страны и укреплению ее обороноспособности. Теперь пришло время убрать с дороги и этих людей, хорошо помнивших, что представляла собой партия при Ленине и Троцком, и понимавших, куда гнет Сталин в своей политике.

Чтобы от них избавиться, Сталин организовал в 1935 году, под предлогом проверки и обмена партийных билетов, новую чистку, которая с циничной откровенностью была направлена против старых членов партии. Парткомы возглавлялись теперь молодыми, людьми, вступившими в партию лишь недавно. Многие из них только что пришли из аппарата ЦК, где занимали разные мелкие должности. Даже партком всего огромного ОГПУ возглавлялся в 1934 году совсем молодым, двадцатипятилетним человеком, неким Балаяном, вступившим в партию всего за год до этого. Именно Балаян организовал комиссию по чистке партии в Дзержинском районе Москвы, которая занималась исключением из партии старых большевиков с солидным дореволюционным тюремным и каторжным стажем.

Следующим шагом Сталина был роспуск Общества старых большевиков, последовавший в мае 1935 года. Это общество состояло из старых членов партии, активно занимавшихся подпольной революционной деятельностью при царском режиме и готовивших рабочий класс к революции. Ленин называл этих ветеранов «золотым фондом»; партийные массы относились к ним с любовью и уважением, считая их «совестью партии».

Обществу старых большевиков принадлежало издательство с типографией, где печатались различные марксистские труды и воспоминания членов Общества, воспроизводящие картины прошлого и участие старых большевиков в создании партии. Разумеется, в этих работах, которые были изданы по большей части еще при Ленине, имя Сталина почти не

упоминалось. В то же время целые главы посвящались деятельности других выдающихся большевиков. Одного этого было достаточно, чтобы Сталин возненавидел ветеранов большевизма. Их труды являлись бы вечным опровержением тех выдуманных сталинских биографий, которые он считал необходимым заказать, дорвавшись до единоличной власти.

Члены Общества старых большевиков с негодованием следили за тем, с какой бесцеремонностью сталинские придворные «теоретики» искажают исторические события, выдумывают басни и не брезгают даже прямой фальсификацией, чтобы состряпать для Сталина более впечатляющую биографию, представив его ближайшим сотрудником (соратником?) Ленина. Старые члены партии стали свидетелями запрета, наложенного на труды по истории партии, изданные при Ленине. Эти книги были заменены новыми, заполненными хвалой Сталину и клеветующими на других деятелей революций, которые на самом деле являлись неоспоримыми лидерами партии. Шло время. Сталинская жажда славы становилась все более неутолимой, так что приходилось изымать даже эти новые книги по истории партии. На смену им появлялись совершенно уж фантастические писания, где роль Сталина выпячивалась настолько, что оставляла в тени самого Ленина. Старые большевики не могли вычеркнуть из памяти того, что видели в свое время собственными глазами. Не желали они и зазубривать, как школьники, новые легенды, прославлявшие нынешнего диктатора. Этих стариков, проводивших лучшие годы своей жизни в царских тюрьмах или в ссылке, Сталин не мог надеяться подкупить. Правда, немногие из них, сломленные житейскими невзгодами и опасавшиеся за судьбу своих детей и внуков, скрепя сердце, примкнули к сталинскому лагерю. Но остальные – подавляющее большинство – продолжали считать, что Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожавшей одно завоевание революции за другим.

После ареста и ссылки многих членов Общества старых большевиков, репрессированных за участие в оппозиции, оставшиеся на свободе замкнулись в себе. Они были бессильны противостоять сталинской тирании. Богатый политический опыт подсказывал им, что революции свойственны приливы и отливы. Теперь они втайне надеялись, что сталинскую реакцию смост новая революционная волна. Пока что они помалкивали об этом. Но в обстановке сталинской диктатуры, делавшей восхваление вождя и его действий обязательным для всех, молчание рассматривалось как признак протеста. Кроме того, пока эти люди имели возможность встречаться в стенах своего Общества и обмениваться мнениями по поводу происходящего, Сталин не мог инсценировать судебные процессы и истреблять прежних руководителей большевистской партии.

После ликвидации Общества старых большевиков ветераны партии начали исчезать один за другим. Они переводились на разные должности в другие города, но лишь единицы достигли места назначения. Большинство были отправлены в Сибирь и бесследно исчезли.

Месяц спустя Сталин ликвидировал Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Царская каторга, через которую прошли члены этого общества, означала приблизительно то же, что во Франции тех времен – ссылка на Чертов остров. Сталин, как известно, не удостоился чести побывать в шкуре политкаторжанина.

Общество политкаторжан с 1921 года издавало журнал «Каторга и ссылка», посвященный истории царской тюрьмы, каторги и ссылки, а также истории революционного движения в России до 1917 года. Даже беглый просмотр вышедших номеров этого журнала позволяет установить знаменательный факт: все легендарные герои российского революционного движения, упоминаемые здесь и дожившие до сталинской тирании, были репрессированы. Заговорщиков, угрожавших царскому трону, Сталин считал теперь опасными для режима его собственной личной власти.

Ликвидация обоих обществ состоялась в тот период, когда множество других организаций продолжало существовать, широко субсидировалось и поощрялось свыше. Именно

в эти годы по всей стране открылось большое количество клубов для привилегированной бюрократии: директоров промышленных предприятий, директорских жен, владельцев автомашин – и даже «Клуб западных танцев».

## 3

Угрозу своей власти Сталин усматривал не только со стороны ветеранов большевизма. Он опасался также молодого поколения, которое росло в затхлой атмосфере диктаторского режима. Ему было хорошо известно, что в царское время революционные партии вербовали в свои подпольные организации главным образом молодежь, всегда отличавшуюся повышенным чувством справедливости и нетерпимостью к любому гнету.

Сталин опасался молодежи в некотором смысле даже больше, чем старых членов партии. Этим он почти всех знал лично, знал их образ мыслей и их намерения. Каждый из них был занесен в «черный список» ЦК и находился под неусыпным надзором ОГПУ. Напротив, в подрастающей молодежи нелегко было разобраться, рассортировать ее и исключить революционизирующие элементы. А между тем в критический момент они могли превратиться в реальную угрозу для сталинской тирании. Поэтому Сталин вновь и вновь требовал от ОГПУ расширения сети осведомителей среди молодежи, особенно на промышленных предприятиях и в вузах.

Все его попытки контролировать молодежь с помощью комсомола и других массовых организаций потерпели неудачу. По всей стране стихийно возникали молодежные кружки, участники которых пытались найти ответ на политические вопросы, которые не полагалось задавать вслух. Не имея опыта какой бы то ни было нелегальной деятельности, их участники часто попадали в лапы НКВД.

Недовольство населения отражалось, конечно, и на комсомольцах, особенно происходящих из рабочей среды. Эту молодежь горько обижало явное неравенство, царящее кругом – полуголодное существование большинства и роскошная жизнь привилегированной бюрократической касты. Сыновья и дочери простых рабочих видели, как их сверстники, дети высоких чинов, назначаются на заманчивые должности в государственном аппарате, в то время как их самих эксплуатируют на тяжелых работах, где требуется ручной труд. Комсомольцам, завербованным на строительство московского метро, приходилось работать по десять часов в день, нередко по пояс в ледяной воде, а их сверстники из верхов в то же самое время раскатывали по Москве в лимузинах, принадлежащих их папашам. Безжалостная эксплуатация комсомольцев на строительстве метро привела к тому, что сразу восемьсот человек, бросив работу, направились как-то к зданию ЦК комсомола и швырнули там на пол комсомольские билеты, выкрикивая ругательства в адрес правительства. Это происшествие произвело большое впечатление на партийную верхушку. Сталин немедленно собрал на заседание членов Политбюро и потребовал созыва пленума московского комитета партии для обсуждения этой первой в истории комсомола стачки.

Отсутствие свободы слова и суровое подавление любой критической мысли заставили комсомольцев организовывать нелегальные кружки для обсуждения волнующих вопросов. Реакция властей последовала без промедления: в 1935–1936 годах тысячи комсомольцев были арестованы и отправлены в лагеря Сибири и Казахстана. Одновременно десятки тысяч юношей и девушек, в чьей лояльности власти не были уверены, отправились туда же, будто по собственной воле, – «строить новые города».

Не рассчитывая на рабочий класс и другие слои населения, Сталин начал поиски иной социальной опоры, которая в случае чего могла бы поддержать режим его личной власти. Самым смелым шагом в этом направлении следует считать восстановление казачьих войск, упраздненных революцией.

В царское время казаки являлись оплотом трона и орудием подавления революционного движения в России. Казачьи войска составляли самостоятельную часть российской армии, пользовались особыми привилегиями и правом самоуправления. Их шефом был

лично царь, а главнокомандующим считался наследник престола. В течение жизни многих поколений казаки с детства обучались военному делу, воспитывались в строго монархическом духе и были убежденными врагами революции. Реакционность казаков укоренилась в них столь глубоко, словно они принадлежали к какой-то особой расе, карательные экспедиции, поручавшиеся казакам, топили в крови любую революционную вспышку.

После Октябрьской революции казачество, разумеется, примкнуло к контрреволюции. Из казаков состояли белые армии генералов Каледина и Краснова. Добровольческая армия белых на Дону, возглавляемая генералами Алексеевым и Корниловым, тоже была казачьей. Донские и кубанские казаки считались главной силой генерала Деникина. Оренбургские и уральские казаки образовали армию Дутова, сражавшуюся против красных. На протяжении трех лет гражданской войны казачество ожесточенно сражалось с Красной армией, беспощадно убивало красноармейцев, попавших в плен, а также всех, кто мог быть заподозрен в симпатиях к советской власти.

Теперь Сталин воскресил казачьи войска со всеми их привилегиями, включая казачью военную форму царского времени. Тот факт, что эта акция совпала по времени с разгоном обществ старых большевиков и политкаторжан как нельзя более ярко свидетельствовал о характере сталинских перемен.

На праздновании годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех приглашенных поразило присутствие неподалеку от Сталина, в третьей от него ложе, группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца, с золотыми и серебряными аксельбантами. В их честь московский танцевальный ансамбль исполнил казачью пляску. Сталин и Орджоникидзе весело аплодировали. Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу, прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам: «Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их работа!» – и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой.

Сталину казаки были нужны, как и царю, для подавления вспышек недовольства: более надежных исполнителей по этой части найти было трудно.

В сентябре 1935 года советские граждане с удивлением прочли в газетах правительственное постановление, которым в Красной армии вводились звания, упраздненные Октябрьской революцией. До этого дня командиры Красной армии различались по занимаемым должностям: «комроты», «комбат», «комполка» и т. д. Новое постановление восстанавливало почти полную иерархию прежних титулов. Командирские оклады были удвоены, огромные средства отпущены на строительство клубов, домов отдыха и жилых домов, предназначенных исключительно для командного состава. И это было только начало. В дальнейшем Сталин восстановил генеральские звания (хотя ранее народу прививалась – притом успешно – ненависть уже к самому слову «генерал») и военную форму, близкую к дореволюционной, вплоть до золотых и серебряных аксельбантов.

Введение особых воинских званий вкупе с новыми привилегиями для командиров ликвидировало последние остатки товарищеских отношений, сохранявшихся в армии еще со времен гражданской войны. Все это преследовало две цели: во-первых, дать командному составу Красной армии реальные стимулы, которые заставили бы их защищать советскую власть, а во-вторых, показать народу, что революция со всеми ее обещаниями кончилась и сталинский режим достиг полной стабильности.

## 4

7 апреля 1935 года советское правительство опубликовало небывалый в истории цивилизованного мира закон. Этим законом провозглашалась равная со взрослыми ответственность, вплоть до смертной казни, для детей от двенадцати лет и старше за различные преступления, начиная с воровства.

Народ был поражен этим чудовищным актом. Хорошо зная, что в сталинских судах царят равнодушие и беззаконие, люди испытывали тревогу за детей, которые легко могли стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения. Это нововведение поразило даже тех, кто занимал видное положение среди сталинской бюрократии.

Желая смягчить жуткое впечатление, произведенное этим законом, правительство прибегло к смехотворной уловке: оно распустило слух, что новый закон направлен главным образом против... беспризорных, которые расхищают продовольствие из колхозных амбаров и железнодорожных вагонов.

Согласно марксистской теории, преступление является порождением социальной среды, которая сформировала преступника. Если эта точка зрения верна, то она – безжалостный приговор всему сталинскому строю, который даже детей превратил в преступников, притом в столь небывалом количестве, что правительство не придумало ничего лучшего, как распространить на них законодательство, рассчитанное на преступников взрослых. Тот факт, что на восемнадцатом году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей, более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике.

Опубликование нового закона застало меня за пределами Советского Союза. Советские дипломаты, находившиеся за рубежом, выражали возмущение этим чудовищным актом сталинского произвола. К тому же Сталин еще раз показал: на мировое общественное мнение ему наплевать. Один советский посол сказал мне, что он предложил своим подчиненным отменить пресс-конференцию для иностранных корреспондентов и сам избегает встреч с дипломатами других стран из боязни вопросов, касающихся этого позорного закона.

В подобной же щекотливой ситуации оказались и лидеры зарубежных коммунистических партий. В августе 1935 года на съезде Объединения французских учителей делегатам-коммунистам был задан вопрос относительно этого закона. Сначала они не нашли ничего лучшего, как вообще отрицать, что подобный закон принят в Советском Союзе. Когда же на следующий день им показали газету «Известия» с его текстом, они заявили буквально следующее: «При коммунизме дети настолько сознательны и хорошо образованы, что вполне в состоянии отвечать за свои поступки».

То обстоятельство, что столь постыдный закон был оглашен без всякого стеснения, еще труднее поддается объяснению, если принять во внимание, что Сталин всегда старался утаить от мира теневые стороны своего режима. Мы знаем, что он постоянно отрицал даже существование в СССР концентрационных лагерей, хотя это ни для кого в мире не являлось тайной. Миллионы заключенных, томившиеся при нем в сибирских лагерях, сплошь и рядом попадали за колючую проволоку без какого бы то ни было суда, и о них никогда не упоминалось в советских газетах. Что касается смертных приговоров в СССР, то на каждый такой приговор, вынесенный судом и преданный гласности, приходилось не менее сотни казней, совершенных в полной тайне.

Обстоятельства, породившие варварский закон, стали мне известны только по возвращении в Москву.

Я узнал, что еще в 1932 году, когда сотни тысяч беспризорных детей, гонимых голодом, забили железнодорожные станции и крупные юрота, Сталин негласно издал приказ: те из

них, кто был схвачен при разграблении продовольственных складов или краже из железнодорожных вагонов, а также те, кто подхватил венерическое заболевание, подлежат расстрелу. Экзекуция должна была производиться в тайне. В результате этих массовых расстрелов и других «административных мероприятий» к лету 1934 года проблема беспризорных детей была разрешена в чисто сталинском духе.

Теперешний закон, таким образом, вовсе не был направлен против беспризорников – в этом уже не было необходимости. Его цель была совершенно иной, и выяснилось это, когда Сталин своими инквизиторскими методами начал готовить старых «соратников» к первому московскому процессу 1936 года.

Как я уже упоминал, Зиновьев, и Каменев на какое-то время утолили сталинскую жажду мести, согласившись на тайном судилище 1935 года признать свою «морально-политическую ответственность» за убийство Кирова. Но ненадолго: для ликвидации их обоих, а заодно и других заслуженных членов партии Сталин нуждался в недвусмысленном «признании» Зиновьева и Каменева в том, что именно они организовали покушение на Кирова и вдобавок намеревались убить его самого. Чтобы заставить Зиновьева и Каменева показывать такое на самих себя и притом в открытом судебном заседании, требовались новые, особо утонченные и эффективные инквизиторские методы. Надлежало найти в душе этих сталинских заложников самую уязвимую, самую чувствительную точку и использовать соответствующий прием пытки.

Такая болевая точка была найдена: привязанность старых большевиков к своим детям и внукам. Лидерам оппозиции уже однажды угрожали карой, которая может постигнуть их детей. Это произошло входе подготовки тайного судилища 1935 года. Тогда они не поверили этим угрозам, полагая, что даже Сталин не пойдет на такое чудовищное преступление. А теперь бывшим оппозиционерам, находившимся в заключении, просто показали копию газетного листа, где был опубликован правительственный указ, обязывающий суд применять к детям все статьи уголовного кодекса, а стало быть, и любую кару, включая и смертную казнь. Стало ясно, что Сталина они недооценили и что их дети и внуки оказались в смертельной опасности. Так новый закон вошел в арсенал средств сталинской инквизиции в качестве одного из наиболее действенных орудий моральной пытки и психологического давления. Секретарь ЦК Николай Ежов лично распорядился, чтобы текст этого закона лежал перед следователями на всех допросах.

## Мистические процессы

### 1

Чудовищные обвинения, выдвинутые Сталиным против старых партийцев, ошеломили весь мир. Обвиняемые, представшие перед судами в Москве, пользовались известностью далеко за рубежами страны. Это были люди, вместе с Лениным и Троцким поднявшие массы российских трудящихся на величайшую социальную революцию и основавшие государство, подобного которому не знала история.

Что могло заставить этих выдающихся деятелей вдруг изменить своим идеалам, своей партии, рабочему классу и совершить ряд гнуснейших преступлений – таких, как шпионаж, предательство, подрыв советской промышленности, вплоть до массового убийства рабочих – и все это ради единственной цели – восстановить в СССР капитализм?

Московские процессы поставили мир перед дилеммой: либо все товарищи и ближайшие помощники Ленина действительно превратились в изменников и фашистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором и убийцей.

Замешательство, вызванное чудовищностью обвинений, еще более возросло, когда все обвиняемые признали свою вину в ходе публичного процесса. Еще более усилилось недоверие к подобному суду. Странное поведение обвиняемых на суде породило самые разнообразные предположения и догадки: будто бы они давали свои показания под действием гипноза, или показания были вырваны пытками, или же подсудимых пичкали специальными снадобьями, парализующими их волю. Только одно никому не приходило в голову: что Сталин прав и что старые товарищи Ленина сознавались в кошмарных преступлениях потому, что действительно совершили их.

Сталин, безусловно, понимал, что мир не поверит голословным заявлениям прокуратуры, будто основатели большевистской партии продались Гитлеру или японскому императору и старались восстановить в СССР капиталистические порядки. Поэтому естественно было бы ожидать, что он сделает все, что в его силах, чтобы только подкрепить обвинения хоть какими-нибудь объективными доказательствами. Тем не менее, ни на одном из трех московских процессов государственный обвинитель не смог предъявить ни одного документа, доказывающего вину обвиняемых: ни конспиративного письма, ни шпионского донесения, ни хотя бы политической прокламации либо листовки.

Эта особенность московских процессов представлялась еще более странной, если вспомнить, что, согласно обвинительному заключению, масштаб заговора, инкриминированного подсудимым, был гигантским: он охватывал всю территорию Советского Союза, а его участники подозревались в нелегальных поездках в Германию, Францию, Данию, Норвегию, где якобы совещались относительно убийства руководителей советского правительства и расчленения СССР. По всему Советскому Союзу были раскиданы десятки активно действующих террористических и диверсионных групп, которые будто бы совершали покушения на жизнь вождей, взрывали мины и выводили из строя целые промышленные предприятия. В общем, сотни человек в течение целых четырех лет подготавливали распад государства. Чем же объяснялся тот факт, что НКВД не сумел обнаружить ни единой бумажки или иного вещественного доказательства?

В беседе с несколькими иностранными писателями Сталин объяснил это так: обвиняемые, старые и опытные конспираторы, заранее уничтожили все документы, которые могли бы им повредить. Считая себя знатоком сыскной практики охранного отделения и современ-

ного НКВД, Сталин, вероятно, про себя посмеивался над наивностью собственного разъяснения, которое не выдерживало никакой критики.

Партийцы-подпольщики в царской России были не менее опытными конспираторами, чем обвиняемые на московских процессах. Вернее, на скамье подсудимых и до революции, и теперь, при Сталине, сидели одни и те же люди. Тем не менее, полиция постоянно находила на их конспиративных квартирах массу документов, которые затем предъявлялись суду как вещественные доказательства их революционной деятельности. После Февральской революции в архивах охранного отделения были обнаружены сотни секретных партийных документов, включая письма самого Ленина.

НКВД, подобно дореволюционному охранному отделению, получал в свое распоряжение разного рода «зацепки» и документальные свидетельства с помощью агентов-провокаторов. Замечу, что в распоряжении НКВД было гораздо больше возможностей для вербовки секретных сотрудников, то есть осведомителей, чем у охранного отделения. Последнее, стремясь принудить революционера стать агентом-провокатором, не могло угрожать ему смертью в случае отказа. НКВД не только угрожал, но имел действительную возможность убивать строптивых, так как не нуждался в судебном приговоре. Дореволюционный департамент полиции мог отправить в ссылку самого революционера, однако не имел права сослать или подвергнуть преследованиям членов его семьи. НКВД такими правами обладал.

Когда советское правительство опубликовало отчет о судебных заседаниях по первому процессу, западная пресса, с самого начала подозревавшая, что Сталин просто сводит счеты с бывшими лидерами оппозиции, подчеркнула тот факт, что суду не было представлено никаких объективных доказательств вины подсудимых. Реакция Запада встревожила Сталина, и он потребовал от государственного обвинителя Вышинского дать на следующем процессе публичное объяснение. И вот в своей речи на втором московском процессе, состоявшемся в январе 1937 года, Вышинский заявил:

– Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены... Но какие существуют в нашем арсенале доказательства с точки зрения юридических требований?... Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?... Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя.

Таким образом, сам государственный обвинитель с циничной откровенностью признавал, что обвинение не располагало какими бы то ни было вещественными доказательствами вины подсудимых. У любого думающего человека не мог не возникнуть вопрос: если следователи не смогли предъявить арестованным никаких улик, что же заставило старых большевиков сознаться в преступлениях, которые по советским законам караются смертью?

Люди, севшие ныне на скамью подсудимых, не раз представляли перед царскими судами и прекрасно ориентировались в основах уголовного законодательства. Они знали, что не обязаны доказывать свою невиновность, что, напротив, бремя доказательства возлагается на государственного обвинителя. Казалось бы, самым разумным для них было хранить молчание и ждать, пока расследование их «дела» не потерпит фиаско. Вместо этого подсудимые, к изумлению всего мира, единодушно сознавались во всех преступлениях, какие только им ни приписывались. Этот необъяснимый феномен повторялся на всех трех московских процессах. Зная, что следственные органы не располагают ни малейшими уликами против них, арестованные партийцы из каких-то таинственных побуждений согласились обеспечить своих обвинителей единственным компрометирующим материалом, на котором вообще строились процессы – своими собственными признаниями!

Вдобавок они делали это с такой готовностью, что юристам и психологам всего мира оставалось только ломать голову: что же происходит? На каждом из процессов подсудимые без малейшего колебания сознавались в самых чудовищных преступлениях. Они называли

себя предателями социализма и пособниками фашистов. Они помогали прокурору подыскивать самые ядовитые и уничижительные эпитеты, нужные тому для характеристики их личностей и деятельности... Они старались превзойти друг друга в самобичевании, объявляя себя самыми активными участниками заговора, главными виновниками. С необъяснимым усердием обвиняемые играли роль собственных обвинителей.

Итак, подсудимые во всем соглашались с тем, что говорил обвинитель, и даже не протестовали, когда он грубо искажал факты их биографий. Так, уступая давлению Вышинского, Зиновьев признал, что он, в сущности, никогда не был настоящим большевиком. Еще более характерным оказался диалог Вышинского с Христианом Раковским. Раковский был участником революционного движения с 1899 года, после революции Ленин назначил его на пост руководителя советской Украины.

Вышинский. Чем вы занимались в Румынии официально? Какие у вас были средства к существованию?

Раковский. Я был сыном состоятельного человека. Мой отец был помещиком.

Вышинский. Значит, вы жили на доходы в качестве рантье?

Раковский. В качестве сельского хозяина.

Вышинский. То есть помещика?

Раковский. Да.

Вышинский. Значит, не только ваш отец был помещиком, но и вы были помещиком, эксплуататором?

Раковский. Ну конечно, я эксплуатировал. Получал же я доходы, а доходы, как известно, получают от прибавочной стоимости.

Вышинский. Ну ладно. Для меня важно было установить источник ваших доходов.

Раковский. А для меня важно сказать, на что я их тратил!

Вышинский. Это другой разговор. А сейчас вы поддерживаете отношения с различными помещичьими кругами?

Обвинитель так и не дал возможности Раковскому сказать, что он делал с наследством, полученным от отца. Почему же? Только потому, что Вышинский отлично знал – да и многие в партии знали, – что Раковский отдал все унаследованное им состояние в фонд революционного движения. На его деньги существовала Румынская социалистическая партия, которую он же сам и основал, и ежедневная социалистическая газета – он же ее и редактировал. Наряду с этим Раковский субсидировал несколько революционных организаций в разных странах и оказывал материальную поддержку революционному движению в России. А здесь ему не позволили даже сказать, что все полученное им наследство было отдано партии! Вышинскому было важнее всячески выпячивать «помещичье прошлое» Раковского.

Даже в томе «Малой советской энциклопедии», вышедшем уже после исключения Раковского из ВКП(б) за участие в антисталинской оппозиции, пришлось указать, что этот человек стал профессиональным революционером с шестнадцати лет, принимал активное участие в рабочем движении многих стран, неоднократно подвергался за это аресту. Более того, энциклопедия сообщает, что в мае 1917 года он в связи с революционными событиями в России был освобожден русскими солдатами из румынской тюрьмы в Яссах.

Нежелание старых большевиков даже пальцем пошевелить в свою защиту само по себе уже настораживало. Но еще более показателен такой факт: проявляя столь странное равнодушие к собственной защите, обвиняемые в то же время постоянно отстаивали правоту Сталина и его политику, оправдывая даже московские процессы, которые он затеял против них.

– Партия, – говорил Зиновьев в своем последнем слове, – видела, куда мы идем, и предостерегала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул, что эти тенденции среди оппозиции могут привести к тому, что она захочет силой навязать партии свою волю... Но мы не внимали этим предупреждениям.

Подсудимый Каменев в последнем слове сказал:

– В третий раз я предстал перед пролетарским судом... Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предел великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предела.

Вот уж, действительно, необычайное явление! Очутившись на краю пропасти, под гнетом обвинения, старые большевики рвутся на помощь Сталину, вместо того чтобы спасти себя, – будто не им грозит смертная казнь. А ведь из простого чувства самосохранения они должны были хотя бы в последнем слове сделать отчаянную попытку защитить себя и спасти, а вместо этого они тратят последние минуты жизни на восхваление своего палача. Они заверяют окружающих, что он всегда был слишком терпелив и слишком великодушен по отношению к ним, так что теперь имеет право их уничтожить...

Оценивая их поведение, можно подумать, что каждым из них владело единственное непреодолимое желание: поскорее умереть. Но это не так. Они отчаянно боролись за жизнь – но не доказывая свою невиновность, как поступают обвиняемые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти уговор со Сталиным: оклеветать себя, восславить его.

Сталин знал, что уже первый из московских процессов был встречен на Западе с недоверием. Было трудно поверить, что недавние вожди советского народа вдруг превратились в предателей и убийц. Естественно, возникли предположения, что эти люди оклеветали себя, будучи подвергнуты пыткам, и что Сталин просто прикрывает судебной процедурой убийство ни в чем не повинных людей. Сталину было чрезвычайно важно рассеять такое впечатление. Но как? Если он попытается уверять, что старых партийцев не пытали, это лишь укрепит подозрение в том, что пытки все-таки были. И вот на двух последующих московских процессах не кто иной, как сами обвиняемые, встают и опровергают упорные слухи о том, будто к ним применялись пытки.

Например, Бухарин, выступая на третьем московском процессе, назвал «заграничные выдумки», будто он и другие подсудимые подвергались пыткам, воздействию гипноза и наркотических средств, «сказками и безусловно контрреволюционными баснями».

Интересно, кстати, было бы узнать, какими путями Бухарин проведал, что пишет о нем зарубежная пресса. Как известно, в Советском Союзе никто, даже и те граждане, что находились на свободе, не имели доступа к иностранным газетам – что же тут говорить о заключенных!

Обвиняемый на втором процессе Радек, славившийся остроумием, кажется, даже слегка переусердствовал в стремлении обелить сталинское следствие. Он сказал, выступая в зале суда:

– Два с половиной месяца я мучил следователя. Здесь поднимался вопрос, не мучили ли нас в ходе следствия. Я должен сказать, что со мной дело обстояло как раз наоборот: это я мучил следователя, а не он меня!

Что за парадокс: старые большевики были ужасно удручены тем, что мир сомневался в их виновности! Их прямо-таки выводил из себя тот факт, что в других странах их продолжали считать порядочными людьми и жертвами сталинской инквизиции, а вовсе не шпионами, предателями и убийцами. Накануне того дня, когда по приказу своего заклятого врага им предстояло получить пулю в затылок, они беспокоились о том, как бы в мире не подумали, что Сталин – бесчестный обманщик, заставивший их клеветать на себя и друг на друга.

Одной из особенностей московских процессов явилось поразительное единомыслие, связывавшее обвиняемых, обвинителя и защиту. Все они стремились доказать, что подсудимые несут ответственность за любые бедствия, обрушившиеся на советский народ, – за голод, за частые железнодорожные катастрофы, за аварии на заводах и шахтах, сопровождавшиеся гибелью рабочих, за крестьянские восстания и даже за непомерный падеж скота – в то время как Сталин, и никто кроме, является спасителем народа и «надеждой мира». Заяв-

ления подсудимых не отличались от деклараций прокурора. Речи защитников содержали еще более резкие выпады по адресу обвиняемых, чем позволял себе государственный обвинитель.

Хотя сам Вышинский отметил, что следственные органы не смогли обнаружить документальных свидетельств и, таким образом, обвинение основывается лишь на признаниях обвиняемых, защитник Брауде заявил на суде:

– В настоящем деле, товарищи судьи, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершенно прав, когда заявил, что со всех точек зрения – с точки зрения документов, собранных по делу, с точки зрения допроса вызванных в суд свидетелей... все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие с обвинением.

Другой защитник, Казначеев, в своей речи на втором из московских процессов сказал:

– Факты дела основаны не только на показаниях обвиняемых, но и отягощены весом свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении. Тяжесть вины подсудимых не поддается измерению!

Кто-нибудь может подумать, что так называемые защитники произносили подобные речи, утратив всякое чувство стыда и стараясь не встречаться глазами со своими подзащитными, а те, напротив, метали в их сторону гневные взгляды, поскольку их доверие к защите оказалось так подло обмануто. Ничего подобного! Защитники не могли испытывать угрызений совести и подсудимые вовсе не были охвачены негодованием. Все участники сталинских процессов знали, что каждый из них, будь то обвиняемый или защитник, прокурор или судья, действует не по своей воле, а вынужден играть роль, назначенную ему в строгом соответствии с заранее подготовленным сценарием. Перед каждым маячит роковая дилемма. Для обвиняемого она выглядит так: играть роль уголовного преступника – или погубить не только себя, но и свою семью. Для обвинителя и председателя трибунала – провести судебный спектакль, назначенный Сталиным, без сучка и задоринки или погибнуть ни за что, за малейшую ошибку, которая даст повод заподозрить, что все дело шито белыми нитками. Для защитника – в точности исполнить тайную инструкцию, полученную от прокурора, или разделить судьбу своих подзащитных...

Одна из целей Сталина состояла в том, чтобы запугать недовольные массы рабочих и тех членов партии, кто все еще сочувствовал оппозиционерам. Требовалось показать им, какая судьба ждет любого, кто осмелится поднять голос против сталинской диктатуры. В соответствии с этой целью обвиняемые со своей стороны обратились к членам партии с недвусмысленными предостережениями.

Подсудимый Богуславский сказал: «Я начал с пустяка, который, на первый взгляд, может показаться невинным... В один прекрасный день вы сворачиваете с дороги, совершаете ошибку, вы настаиваете на своих ошибках и, как правильно сказал вчера государственный обвинитель, это может привести и приводит, как в нашем случае, к фашистскому контрреволюционному болоту».

Подсудимый Розенгольц выразил ту же сталинскую угрозу такими словами: «Жалкой и несчастной будет судьба того, кто допустит хоть малейшее отклонение от генеральной линии партии!»

Намечая сценарии судебных спектаклей, Сталин не смог сдержать своей страсти к самовосхвалению. Естественно, что ход этих процессов отразил симпатии и антипатии, чувства и мысли сценариста.

Вышинский, соответственно, уснащал свои обвинительные речи обильными дифирамбами «великому, гениальному, мудрому, любимому и дорогому Сталину», а одно из выступлений закончил так:

– Мы, наш народ будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем – великим Сталиным – вперед и вперед, к коммунизму!

Бухарин на суде восклицал: «Он (Сталин, разумеется, – *А. О.*) – надежда человечества! Он – зиждитель!» Другой подсудимый, Розенгольц, провозглашал: «Да здравствует партия большевиков с ее традициями энтузиазма, героизма, самопожертвования, которых нет нигде в мире, кроме как в нашей стране, идущей к светлому будущему под руководством Сталина!»

От прокурора и подсудимых не отставали и защитники: «Что же касается сталинского руководства, против которого была направлена эта борьба, – рассуждал защитник Коммодов, – ...170 миллионов заслонили своего вождя стеною любви, уважения и преданности, которую не сломить никому! Никому и никогда!»

И такую-то мешанину из всякого рода фальсификаций, пропаганды и саморекламы Сталин пытался выдать за объективный суд!

## 2

Каждый, кому привелось читать или хотя бы просматривать официальные стенограммы московских процессов, наверняка заметил, что все они направлены в первую очередь против Троцкого. Он был особенно ненавистен Сталину, и ненависть только усиливалась оттого, что с 1929 года Троцкий находился за границей, в изгнании, и был вне пределов досягаемости.

Не имея возможности казнить этого выдающегося руководителя двух русских революций – 1905 и 1917 года – вместе с остальными сподвижниками Ленина, Сталин временно удовлетворил свою жажду мести, заставив всех участников московских процессов – подсудимых, прокурора и защитников – поносить Троцкого и изображать его главным преступником и моральным вырождением.

Задавшись целью представить Троцкого в качестве организатора и руководителя всего «контрреволюционного подполья», Сталин выдумал «нити заговора», тянущиеся в СССР из тех стран, где в разное время жил Троцкий – Дании, Франции, Норвегии.

Сталин наметил два вида этих связей Троцкого с «контрреволюционным подпольем». Во-первых, Троцкий якобы ведет тайную переписку с руководителями этого подполья, находящимися в СССР. Во-вторых, они специально приезжают к нему из Советского Союза, чтобы отчитаться перед ним и получить новые директивы.

Мы уже знаем, что на московских процессах государственный обвинитель не смог предъявить ни одной строчки из этой «тайной переписки», хотя она шла якобы в течение нескольких лет. Тем более важно было доказать, что, по крайней мере, тайные свидания «заговорщиков» с Троцким действительно происходили, и не раз. Ради подкрепления этой версии руководство НКВД внушило троим обвиняемым – Гольцману, Пятакову и Ромму – что им надлежит признать на суде, будто бы каждый из них в разное время встречался с Троцким за границей и получал от него директивы для подпольной организации. Показания этих обвиняемых сделались главным козырем обвинения и, как рассчитывал Сталин, должны были принести немалый эффект. Однако неожиданно для него выяснилось, что существенные детали этих встреч с Троцким не выдерживают критики. Это обстоятельство лишило всякого юридического смысла «признания» обвиняемых об их свиданиях с Троцким.

Промах, допущенный в этом вопросе Сталиным, объясняется просто. Дело в том, что Троцкий жил за границей с 1929 года, когда его выслали из СССР. Естественно, только там он и мог встречаться с «заговорщиками». Идея таких встреч казалась Сталину настолько соблазнительной, что он упустил из виду весьма немаловажное обстоятельство: власть НКВД на границу не распространялась, следовательно, там нельзя было пресечь проверку фактов и установление истины. В этих условиях юридический спектакль, основанный на мнимых свиданиях «заговорщиков» с Троцким, был сопряжен с большим риском.

Разоблачение сталинской выдумки в данном случае произошло так.

На первом из московских процессов подсудимый Гольцман признался, что, будучи послан со служебным поручением в Берлин в ноябре 1932 года, он тайно встретился там со Львом Седовым, сыном Троцкого, и по поручению одного из руководителей заговора (И. Н. Смирнова) передал ему для Троцкого некие отчет и шифр для дальнейшей связи. В ходе одной из следующих встреч Седов якобы предложил Гольцману съездить вместе с ним к Троцкому, жившему тогда в Копенгагене.

«Я согласился, – показывал Гольцман на суде, – но предупредил его, что по соображениям конспирации мы не должны ехать туда вдвоем. Я договорился с Седовым, что буду в Копенгагене через два или три дня, остановлюсь в гостинице „Бристоль“ и там встречу с

ним. Я направился в гостиницу прямо с вокзала и в вестибюле встретил Седова. Около 10 часов утра мы отправились к Троцкому».

Гольцман признал, что Троцкий сказал ему: «...необходимо убрать Сталина... необходимо подобрать людей, пригодных для выполнения этого дела».

Когда признания Гольцмана были опубликованы в газетах, Троцкий объявил их ложными и тут же, через иностранную прессу, обратился к советскому трибуналу и государственному обвинителю Вышинскому с требованием: пусть они спросят Гольцмана, с каким паспортом и под каким именем он приезжал в Данию.

Вышинский, конечно, не задал Гольцману таких вопросов. Зная, что датские власти регистрируют имена и паспортные данные всех въезжающих в страну иностранцев, он боялся, что западные журналисты начнут наводить в Дании справки и вся эта история будет публично разоблачена как чистейшая выдумка. Между тем показания Гольцмана были существенно важны для процесса в целом: на них базировались обвинения, выдвинутые против остальных подсудимых. В обвинительном заключении было сказано (и в дальнейшем подтверждено еще раз в тексте приговора), что подсудимые были назначены как исполнители террористических актов согласно директивам, полученным в Копенгагене от Троцкого именно Гольцманом.

Трибунал приговорил всех подсудимых, в том числе и Гольцмана, к расстрелу. 25 августа 1936 года, на следующий день после вынесения приговора, он был приведен в исполнение. «Мертвый не скажет», – гласит известная пословица. Сталин и Вышинский полагали, что их судебный спектакль теперь уж никогда не будет разоблачен. Однако они просчитались.

1 сентября (не прошло и недели после расстрела «заговорщиков»!) газета «Социалдемократен», официальный орган датского правительства, опубликовала сенсационное сообщение: гостиница «Бристоль», где якобы в 1932 году происходила встреча Седова с Гольцманом и откуда оба они, по свидетельству Гольцмана, направились на квартиру Троцкого, была в действительности закрыта в связи со сносом здания еще в 1917 году.

Мировая пресса немедленно подхватила сенсацию. Со всех сторон, от врагов и недомевающих друзей, в Москву потекли запросы: как же так? Сталин хранил молчание.

В США под председательством известного философа Джона Дьюи была образована комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых Москвой против Троцкого. Тщательно изучив факты, касающиеся «копенгагенского эпизода», она пришла к таким выводам:

«Общеизвестно и доказано, что в Копенгагене в 1932 году гостиницы „Бристоль“ не существовало. Очевидно, таким образом, что Гольцман не мог встретиться с Седовым в этой гостинице. Тем не менее, он ясно заявил: он уговорился с Седовым, что „остановится“ в этой гостинице и встретится с ним именно здесь, и такая встреча действительно состоялась в вестибюле этой гостиницы...

Таким образом, мы вправе считать установленным: ...что Гольцман не встретился здесь с Седовым и не направился с ним к Троцкому; что Гольцман не виделся с Троцким в Копенгагене».

Помимо разоблачения «показаний» Гольцмана, комиссия абсолютно точно установила, что Седова вообще не было и не могло быть в Копенгагене в период с 23 ноября по 2 декабря 1932 года, то есть в дни, когда здесь находился Троцкий. Редко случается, чтобы частная комиссия, не облеченная государственной властью, не имея доступа к правительственным источникам информации и не нанимая специальных агентов, оказалась в состоянии собрать такое количество бесспорных доказательств – свидетельских показаний и документов – как это удалось сделать комиссии Дьюи, в частности по вопросу о встрече Седов-Гольцман. Я приведу всего два примера таких свидетельств.

Во-первых, это зачетная книжка Седова, бывшего в то время студентом Высшей технической школы в Берлине, экзаменационные листы с подписями и печатями этой школы и подписями преподавателей, журнал посещаемости занятий с датами и подписями – все эти документы однозначно свидетельствуют, что в те дни, когда Троцкий находился в Копенгагене, его сын сдавал экзамены в Берлине.

Во-вторых, личная переписка Седова с родителями, не оставляющая сомнений в том, что с 23 ноября по 3 декабря 1932 года он находился именно в Берлине. Так, в одном из писем, адресованном родителям накануне их отъезда из Дании, он пишет:

«Дорогие мои, еще около полутора суток вы будете всего в нескольких часах езды от Берлина, но я не смогу приехать повидать вас! Немцы не дали мне разрешения продлить мое пребывание здесь, а без него я не получу датской визы, да если б и получил – не смог бы вернуться в Берлин».

Еще более выразительным свидетельством является открытка, посланная Седовой-Троцкой сыну из датского порта Эльсберг в день отъезда из Дании. В этой открытке с почтовым штампом «Эльсберг, 3 дек. 32» Седова-Троцкая с огорчением пишет, что им не удалось повидаться перед отъездом, и кончает такими словами: «Я все еще надеюсь, что произойдет чудо – и мы увидимся с тобой здесь».

## 3

Узнав о сообщениях датских газет об отсутствии в Копенгагене гостиницы «Бристоль», Сталин пришел в бешенство: «На кой черт вам сдалась эта гостиница! Сказали бы, что они встретились на вокзале. Вокзалы всегда стоят на месте!» Сталин приказал Ягоде произвести детальное расследование и доложить ему фамилии сотрудников НКВД, виновных в такой дискредитации всего судебного процесса. В надежде как-то выправить положение Ягода сразу же отрядил в Копенгаген опытного сотрудника Иностранного управления НКВД, чтобы тот посмотрел на месте, что можно сделать для ликвидации промаха или хотя бы смягчения столь скандального эпизода. Сотрудник вернулся ни с чем. Множество людей, причастных к этому делу, недоумевало: как вообще могло случиться, что НКВД выбрало для столь серьезного дела несуществующий «Бристоль». Ведь в Копенгагене имеется бесчисленное множество реально существующих гостиниц – казалось бы, есть из чего выбирать! Специальное расследование, проведенное по требованию Сталина, выявило следующее.

Когда Гольцман, не выдержав инквизиторского нажима следователей, согласился наконец подписывать все, что ему будет предъявлено, организаторам процесса потребовалось выбрать место мнимых встреч Гольцмана с Седовым, притом такое место, чтобы оттуда легко было попасть на квартиру Троцкого.

Ежов решил, что наиболее подходящим местом является гостиница. Название соответствующей копенгагенской гостиницы следовало получить от так называемого Первого управления Наркоминдела, собиравшего информацию обо всех зарубежных странах. Однако начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, обеспечивавший «техническую сторону» подготовки судебного процесса, счел неосторожным прямо обращаться в Наркоминдел за названием гостиницы в Копенгагене. Он знал, что это название вскоре будет фигурировать на открытом процессе и сотрудники Наркоминдела смогут сообразить, что к чему. Но Молчанов перемудрил. Он приказал своему секретарю позвонить в Первое управление Наркоминдела и попросить рекомендовать несколько гостиниц в Осло и Копенгагене – якобы для размещения группы видных сотрудников НКВД, направляемых в скандинавские страны.

Молчановский, секретарь, так и сделал. Но, перепечатывая полученный список гостиниц для своего шефа, он перепутал, какие из названных гостиниц находятся в Осло, а какие в Копенгагене. Так возникла ошибка, сыгравшая столь роковую роль на судебном процессе. Молчанов, как на грех, остановился на названии «Бристоль», действительно для Осло, но не существующем в Копенгагене.

Откуда же было знать об этом Гольцману, подписавшему свое признание о связях с Троцким?

## Машина инквизиции

### 1

До сих пор я ограничивался кратким изложением официальных судебно-следственных материалов, уделяя внимание тем обстоятельствам, которые позволяют прояснить сущность московских процессов. Теперь следует ввести читателя за кулисы этих судебных заседаний и показать ему шаг за шагом, как был организован этот многоактный, величайший в человеческой истории обман и какими средствами Сталину и его подручным удалось превратить выдающихся борцов и вождей революции в послушных марионеток, разыгрывающих что-то вроде кукольного спектакля.

В начале 1936 года Молчанов собрал около сорока видных сотрудников «органов» на специальное совещание. Среди собравшихся были начальники наиболее важных управлений НКВД и их заместители.

Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие бывшие руководители оппозиции. Организация заговорщиков, тайно действовавшая в течение нескольких лет, создала террористические группы почти во всех крупных городах. Она поставила целью убить Сталина и вообще членов Политбюро и захватить власть в стране. Кратко обрисовав особенности и масштабы раскрытого заговора, Молчанов информировал присутствующих, что по приказу народного комиссара внутренних дел Ягоды все они, кроме начальников управлений и их заместителей, освобождаются от текущих обязанностей и поступают в распоряжение Секретного политического управления НКВД для проведения следствия. Он подчеркнул, что Сталин лично будет наблюдать за ходом расследования, а помогать ему в этом будет секретарь ЦК Ежов. Итак, партия доверила органам НКВД исключительно ответственное задание, и по ходу работы следователи должны будут проявить себя не только как чекисты, но и как члены партии.

Молчанов недвусмысленно дал понять собравшимся, что Сталин и Политбюро считают обвинения, выдвинутые против руководителей заговора, абсолютно достоверными и, таким образом, задачей каждого из следователей является получение от обвиняемых полного признания. Возможным попыткам заговорщиков настаивать на своем алиби не стоит придавать значения: известны случаи, когда некоторые из них пытались давать указания террористическим группам, уже находясь в тюрьме.

Молчанов сформировал из присутствующих несколько следственных групп, выяснил с ними технические детали предстоящего следствия и порядок координации всей работы. В заключение он процитировал им секретный циркуляр за подписью народного комиссара внутренних дел Ягоды, в котором Ягода предупреждал следственные органы о недопустимости применения к обвиняемым любых незаконных методов следствия – таких, как угрозы, обещания или запугивание.

Все услышанное поразило участников совещания. Посыпались вопросы: как же могло случиться, что такой гигантский заговор был раскрыт без их непосредственного участия? Ведь вся оперативная деятельность НКВД и вся сеть тайных информаторов, доносивших о каждом шаге участников оппозиции, были сосредоточены в их руках. А их даже не укоряют за то, что они проглядели гигантскую организацию заговорщиков, – как же так? Разве не их прямым делом является раскрытие заговоров – а тут выясняется, что этот заговор существует уже несколько лет...

Схема предстоящего судебного процесса и его подготовки была детально разработана Сталиным и Ежовым. Практическое исполнение операции, запланированное ими, было возложено на народного комиссара внутренних дел Ягоду.

Согласно сталинскому плану, следовало доставить в Москву из ссылки и различных тюрем около трехсот бывших участников оппозиции, имена которых были широко известны, подвергнуть их «обработке», в результате которой примерно пятая часть узников окажется сломленной, и набрать таким образом группу из пятидесяти или шестидесяти человек, сознавшихся, что они участвовали в заговоре, возглавляемом Зиновьевым, Каменевым и Троцким. Затем, используя эти показания, организаторы судебного процесса смогут направить его острие против Зиновьева и Каменева и методами угроз, обещаний и прочих приемов из арсенала следствия заставить самих этих деятелей признать, что они возглавляли заговор против Сталина и советского правительства.

Чтобы ускорить осуществление сталинского плана, было решено подсадить в камеры к обвиняемым несколько тайных агентов НКВД, которые и на предварительном следствии, и перед судом изображали бы участников заговора и выдавали Зиновьева и Каменева за своих предводителей.

У руководителей следствия уже имелся некоторый «задел» в лице Валентина Ольберга – тайного агента НКВД, Исаака Рейнгольда, крупного советского чиновника, лично знакомого с Каменевым, и Рихарда Пикеля, в прошлом возглавлявшего секретариат Зиновьева. Все трое сыграли решающую роль в следственной подготовке первого московского процесса.

Ольберг был давним агентом Иностранного управления НКВД и когда-то работал в Берлине тайным информатором в среде немецких троцкистов. В 1930 году по поручению немецкого резидента ОГПУ он пытался попасть в секретари к Троцкому, жившему тогда в Турции, но этот номер не прошел: он был явно неспособен завоевать доверие Троцкого. Когда к власти в Германии пришел Гитлер, ОГПУ отозвало Ольберга в СССР и направило его на временную работу учителем в Таджикистан. Там, в Сталинабаде, Ольберг прозябал недолго: вскоре он снова понадобился Иностранному управлению для выполнения зарубежных поручений. Оно послало его в Прагу – следить за деятельностью левых германских партий, обосновавшихся в Чехословакии.

Вторично отозванный в СССР в 1935 году, Ольберг вскоре был переведен в Секретное политическое управление НКВД, возглавляемое Молчановым. В этот период ЦК партии и «органы» усиленно занимались проблемой роста троцкистских настроений в Высшей партийной школе. Студентам ВПШ, изучавшим Маркса и Ленина «по первоисточникам», понемногу становилось ясно, что «троцкизм», заклеенный Сталиным как ересь, в действительности представляет собой подлинный марксизм-ленинизм.

Наиболее серьезное положение создалось в Горьковском пединституте, студенты которого образовали даже нелегальные кружки по изучению трудов Ленина и Троцкого. Здесь ходили по рукам запрещенные партийные документы, в том числе знаменитое «ленинское завещание». Ольберг считался одним из наиболее опытных агентов, поэтому НКВД решил направить его на работу в этот пединститут.

Отбор преподавателей в высшие партийные школы производился в СССР с особой тщательностью. Сюда подходили только особо надежные партийцы, никогда не принадлежавшие к какой бы то ни было оппозиции, вдобавок имеющие высшее партийное образование и большой педагогический опыт. Прошлое каждого лица, намечаемого на такую преподавательскую работу, и его автобиография перепроверялись во всех партиячках и отделах кадров, где он когда-либо работал, после чего собранные данные направлялись на утверждение в специальную комиссию, куда входили представители НКВД и ЦК партии.

Естественно, Валентин Ольберг никогда не смог бы удовлетворить этим строгим требованиям, если бы не протекция. Ольберг не был членом ВКП(б) и даже гражданином Советского Союза. Из официальной стенограммы первого московского процесса явствует, что он гражданин Латвии, вдобавок прибывший в СССР как турист по паспорту Республики Гондурас, купленному в Чехословакии. К тому же Ольберг не имел высшего образования, что уж никак не позволяло ему рассчитывать на должность преподавателя кафедры общественных наук. Несмотря на все это, Молчанову удалось настоять перед Отделом высшей школы ЦК партии, что его секретный сотрудник может и должен быть назначен в Горький. В ЦК снабдили Ольберга копией приказа о назначении его преподавателем истории революционного движения.

Впрочем, назначение Ольберга все же не обошлось без осложнений. Прибыв в Горький, он представился члену бюро обкома партии, некоему Елину, имевшему партийное поручение знакомиться с новоназначенными преподавателями и инструктировать их по политическим вопросам. Разговаривая с Елиным, Ольберг запутался в ответах, противоречиво осветил свое прошлое и кончил признанием, что он вообще не историк, не член ВКП(б) и даже не советский гражданин. Подозревая, что Ольберг подделал документы, Елин немедленно доложил о своих сомнениях Горьковскому областному управлению НКВД и в ЦК партии. Молчанов, узнав об этом, начал лихорадочно названивать в ЦК. Ежов вызвал Елина и распорядился оставить Ольберга в покое: «Пусть преподает в институте!» Этот эпизод, как мы увидим позже, сыграет роковую роль в связи с первым московским процессом и приведет к гибели Елина.

Когда в начале 1936 года развернулась подготовка к этому процессу, Молчанов использовал Ольберга в качестве провокатора: фигурируя в роли подсудимого, Ольберг должен был дать ложные показания, порочащие Льва Троцкого и тех уже арестованных старых большевиков, которых Сталин решил предать суду.

Ольберга не пришлось вынуждать к этому. Ему просто объяснили, что, поскольку он отличился в борьбе с троцкистами, теперь его выбрали для выполнения почетного задания: он должен помочь партии и НКВД ликвидировать троцкизм и разоблачить Троцкого на предстоящем судебном процессе как организатора заговора против советского правительства. Ему было сказано, что, независимо от того, какой приговор суд вынесет ему лично, его освободят и направят на ответственную должность на Дальнем Востоке.

Ольберг подписывал все «протоколы допросов», какие только НКВД считал нужным составить. Подписал, в частности, признание, что он, Ольберг, был послан Седовым в СССР, по указанию Троцкого, с заданием организовать террористический акт против Сталина. По прибытии в Советский Союз он поступил работать преподавателем в город Горький, где установил контакт с другими троцкистами; они совместно разработали план убийства Сталина. Этот план, по Ольбергу, заключался в том, чтобы послать в Москву для участия в Первомайской демонстрации студенческую делегацию, состоящую из убежденных троцкистов, и руками этих студентов убить Сталина, когда он будет стоять, как обычно, на мавзолее. Ольберг показал также, что он является агентом гестапо, причем Троцкому это, разумеется, было известно.

Чтобы придать «троцкистскому заговору» больший размах, Молчанов приказал Ольбергу обрисовать в качестве террористов также его ближайших друзей по Латвии и Германии, бежавших в 1933 году в СССР от гитлеровских преследований. Необходимость в предательстве такого рода застала Ольберга врасплох. Он понимал, из каких соображений Сталин ополчился против Зиновьева, Каменева и Троцкого, но не мог понять, зачем всемогущему НКВД накапливать ложные свидетельства против этой маленькой кучки беглецов, которым посчастливилось найти в СССР убежище. Ольберг умолял Молчанова не заставлять его кле-

ветать на своих личных друзей, но тот напомнил ему, что приказы следует исполнять, а не критиковать.

Ольберг не отличался ни смелостью, ни сильной волей. Хотя он знал, что является лишь мнимым обвиняемым, как в дальнейшем станет мнимым подсудимым, тем не менее суровая тюремная обстановка и безнадежность положения прочих обвиняемых по этому делу сделали его робким и боязливым. Он опасался, что сопротивление домогательствам Молчанова обернется немедленным переводом его из мнимых обвиняемых в категорию «настоящих», и подписал в конечном счете все, что ему предлагалось засвидетельствовать.

В официальном отчете о судебном процессе – первом из московских процессов тех лет – из всех друзей Ольберга был упомянут лишь один: молодой человек, по имени Зорех Фридман (Ольберг именoval его «агентом гестапо»). Однако в неопубликованных протоколах допросов, подписанных Ольбергом в НКВД, я в свое время видел и другие имена. Все это были его друзья, которых ему было приказано оклеветать. Хорошо помню, что среди них были братья Быховские, по профессии химики, нужные Молчанову в качестве «изготовителей бомб» для террористов. Встречалось там также имя некоего Хацкеля Гуревича, готовившего якобы убийство Жданова, который сменил Кирова на посту первого секретаря Ленинградского обкома.

Другим эффективным орудием в руках НКВД стал Исаак Рейнгольд. Я знал его еще с 1926 года. Это был крупный тридцативосьмилетний мужчина с привлекательным, энергичным лицом. Он элегантно одевался и внешне походил скорее на дореволюционного аристократа, нежели на советского партийца.

Не будучи старым членом партии, Рейнгольд благодаря своим незаурядным способностям и родству с народным комиссаром финансов Григорием Сокольниковым, быстро выдвинулся на ответственные должности в правительстве. Двадцати девяти лет он вошел в состав советской экономической делегации, которая вела переговоры с французским правительством, и был назначен членом коллегии народного комиссариата финансов. На даче Сокольникова Рейнгольд встречал многих видных большевиков, в том числе Каменева. Подобно тысячам молодых партийцев, Рейнгольд примкнул было вначале к оппозиции, однако вскоре отошел от нее, перестал активно участвовать в партийной работе и отдавал все свои силы административной деятельности. К моменту ареста он был председателем Главхлопкопрома.

Когда в начале 1936 года руководство НКВД и Ежов отбирали кандидатов для предстоящего процесса, их выбор пал на Рейнгольда по той простой причине, что его личное знакомство с Каменевым и Сокольниковым давало шанс использовать его как свидетеля против них обоих. С другой стороны, принадлежность Рейнгольда, пусть кратковременная, к оппозиции позволяла его шантажировать.

Итак, Рейнгольда арестовали. Следователи заявили ему: НКВД располагает информацией, что Каменев вовлек его в террористическую организацию, и потребовали, чтобы он помог разоблачить Каменева и Зиновьева как руководителей заговора, направленного против советского правительства. Молчанов всячески убеждал Рейнгольда, что только показания, разоблачающие этих людей, могут спасти его, Рейнгольда, жизнь. Тем не менее, Рейнгольд неистово отрицал свое участие в каком бы то ни было заговоре и уверял Молчанова, что до 1929 года в глаза не видел Каменева.

Так ничего и не добившись, Молчанов передал Рейнгольда следственной группе, возглавляемой заместителем начальника Оперативного управления НКВД Чертоком, отъявленным негодяем и садистом. Черток и его люди бились с Рейнгольдом чуть ли не три недели. Они подвергали его непрекращающимся допросам, длившимся иногда по сорок восемь часов без перерыва на еду и сон; играли на его семейных чувствах, подписывая в его при-

существовании ордер на арест всей его семьи. Однако трех недель оказалось недостаточно, чтобы сломить волю и железное здоровье Рейнгольда.

Когда обычные инквизиторские приемы были исчерпаны, Молчанов, по совету Ежова, прибег к такому трюку. Рейнгольда на несколько дней оставили в покое. Затем неожиданно подняли среди ночи, доставили из камеры к следователю и предъявили ему фальшивое постановление Особого совещания при НКВД. В этой бумаге, заверенной официальной печатью, говорилось, что Исаак Рейнгольд приговорен к расстрелу за участие в троцкистско-зиновьевском заговоре, а члены его семьи подлежат ссылке в Сибирь.

Молчанов на правах старого знакомого Рейнгольда посоветовал ему написать прошение о помиловании непосредственно на имя секретаря ЦК партии Ежова. Пусть, дескать, тот распорядится отсрочить исполнение смертного приговора и пересмотреть дело. Рейнгольд последовал совету и тут же написал длинное заявление, адресованное Ежову.

Следующей ночью Рейнгольда опять привели к Молчанову. Молчанов сообщил ему, что Ежов прочитал заявление и распорядился, чтобы постановление Особого совещания было отменено, однако лишь при условии, что Рейнгольд согласится помочь следствию «вскрыть преступления троцкистско-зиновьевской банды». Получалось, что судьба Рейнгольда отныне в его собственных руках. Его отказ от показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, автоматически приведет смертный приговор в исполнение, и, напротив, согласие признать то, что требует следствие, означает спасение. Молчанов не сомневался, что Рейнгольд, прошедший последние сутки под угрозой нависшей над ним гибели, жадно ухватится за ежовский вариант. Но Рейнгольд оказался более мужественным человеком, чем ожидал Молчанов. Он выдвинул встречное условие: он согласен подписать любые показания, направленные как против него самого, так и против других людей, но только в том случае, если представитель ЦК партии заявит ему, что партия считает его ни в чем не повинным, однако интересы партии требуют именно таких признаний, каких домогаются от него. Молчанов предупредил Рейнгольда, что попытки диктовать какие-то встречные условия могут расценить как отказ принять требование Ежова. Это может плохо кончиться. Однако Рейнгольд стоял на своем.

На следующий день Молчанов доложил Ягоде, как обстоят дела с Рейнгольдом. Стремясь получить наконец хоть какие-то свидетельства вины Каменева и Зиновьева, Молчанов, был склонен принять условие, выдвинутое Рейнгольдом. Но Ягода был решительно против. Он запретил Молчанову «торговаться с такой мелкой сошкой, как Рейнгольд», будучи уверен, что Рейнгольд и без того сдастся, если его еще некоторое время подержать на грани жизни и смерти.

Между тем время шло. Сталин с нетерпением ожидал результатов следствия, а в активе НКВД было пока лишь одно свидетельское показание, направленное против обвиняемых троцкистов, да и то было подписано Ольбергом, тайным энкаведистским агентом. Вдобавок в нем не содержалось никакой компрометирующей информации о Зиновьеве и Каменеве. Требовалось что-то срочно предпринять, дабы следствие сдвинулось с мертвой точки.

Наконец Ежов вмешался лично. Он выразил удивление, почему это НКВД пытается «ломиться в открытую дверь». Ежов вызвал, Рейнгольда из тюрьмы и от имени ЦК заявил ему, что свою невиновность и преданность партии Рейнгольд может доказать, только помогая НКВД в изобличении Зиновьева и Каменева. После этого разговора поведение Рейнгольда полностью изменилось. Из непримиримого противника следователя Чертока он превратился в его ревностного помощника. Он подписывал все, что требовалось следствию, и даже помогал следователям редактировать собственные показания.

В противоположность Ольбергу Рейнгольд ни разу не поинтересовался, какой приговор могут ему вынести. Он полагался на порядочность и совесть Сталина и Ежова. Со временем мы увидим, какую огромную помощь Рейнгольд оказал НКВД в подготовке

фальсифицированного процесса. На суде он оказался не только главным орудием НКВД, но и основным помощником прокурора Вышинского. Рейнгольда использовали несравненно шире, чем Ольберга. Являясь иностранцем и постоянно живя за границей, Ольберг не мог стать непосредственным свидетелем «враждебной деятельности» Зиновьева, Каменева и других бывших партийных вожаков. Напротив, Рейнгольд, крупный советский работник, вполне мог сойти за участника тайных встреч и совещаний с бывшими вождями оппозиции.

Рейнгольдом было подписано, в частности, показание, где говорилось, что, являясь членом троцкистско-зиновьевской организации, он подготавливал убийство Сталина, вообще же развивал свою преступную деятельность под личным руководством Зиновьева, Каменева и Бакаева. Кроме того, Рейнгольд засвидетельствовал, что убийство Кирова было организовано Зиновьевым и Каменевым и что террористические акты планировались не только против Сталина, но и против Молотова, Ворошилова, Кагановича и прочих вождей.

Он оказался настолько полезным «свидетелем» что организаторы судебного процесса решили не ограничиваться его показаниями против Каменева и Зиновьева, как было задумано вначале. Теперь он подписывал показания чуть ли не против всех бывших партийных деятелей, которые должны были пригодиться на последующих процессах. По требованию Ежова, он оклеветал в своих показаниях бывшего главу советского правительства – Рыкова, бывших членов Политбюро – Бухарина и Томского, оклеветал также Ивана Смирнова, Мрачковского и Тер-Ваганяна.

Сотрудничество Рейнгольда с руководителями следствия зашло так далеко, что временами они просто забывали, что он является обвиняемым. Отсюда и такая странность в «свидетельских показаниях» Рейнгольда: они принадлежат словно бы не раскаивающемуся террористу, только накануне замышлявшему убийство Сталина, а негодующему обвинителю. Он гневно характеризует организацию, к которой якобы принадлежал, как «контрреволюционную террористическую банду убийц, пытавшуюся подорвать могущество страны всеми доступными ей средствами».

Показания Рейнгольда, тщательно выверенные Мироновым, начальником Экономического управления НКВД, и Аграновым, Ягода передал Сталину. На следующий день Сталин вернул эти бумаги с поправками, вызвавшими невероятный переполох среди руководства наркомата внутренних дел: из показаний, где Рейнгольд свидетельствует, что Зиновьев настаивал на убийстве Сталина, Молотова, Кагановича и Кирова, Сталин собственноручно вычеркнул фамилию Молотова.

Ягоде ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы руководители следственных групп не упоминали эту фамилию в показаниях обвиняемых, касающихся покушений на вождей партии и государственных деятелей. Было очевидно, что между Сталиным и Молотовым возникло какое-то разногласие и Молотов может в любой момент бесследно исчезнуть с политического горизонта страны, как это ранее произошло с главой правительства РСФСР Сырцовым, прежним сталинским фаворитом. Работники НКВД знали, что от Сталина можно ожидать всего: сегодня он вычеркивает Молотова из списка жертв, намеченных заговорщиками, а завтра потребует включить его уже в списки участников этого заговора, замышлявших убийство «вождей».

Ввиду того что этот эпизод интересен с точки зрения трактовки московских процессов как орудия сталинских политических интриг, я вернусь к нему в одной из последующих глав.

В показания Рейнгольда Сталин внес и другие исправления. Иногда они носили деловой характер, однако нередко были такого сорта, что руководители НКВД, перечитывая их, едва могли сдерживать ироническую усмешку, а то и начинали, втихомолку хихикать. Например, прочитав в показаниях Рейнгольда, что Зиновьев настаивал на необходимости убить не только Сталина, но также и Кирова, Сталин сделал такую приписку: «Зиновьев заявил:

недостаточно свалить дуб, все молодые дубки, поднявшиеся вокруг, тоже должны быть вырваны».

К удовольствию Сталина, государственный обвинитель Вышинский дважды повторил на суде это цветистое сравнение. В другом абзаце тех же показаний, где Рейнгольд рассказывает, как Каменев пытался обосновать необходимость террористических методов, Сталин вставил такую фразу, будто бы произнесенную Каменевым: «Сталинское руководство делалось прочным, как гранит, и глупо было бы надеяться, что этот гранит сам даст трещину. Значит, надо его расколоть».

Еще одним орудием организаторов процесса сделался Рихард Пикель. Он не был старым членом партии и понадобился следствию только потому, что когда-то заведовал зиновьевским секретариатом. Ежов и Ягода полагали, что это обстоятельство придаст показаниям Пикеля против Зиновьева необходимую убедительность.

Я довольно хорошо знал Пикеля. Он был добродушным, обходительным человеком, сентиментальным от природы. В юности писал лирические стихи, потом перешел на прозу и стал членом Союза советских писателей.

В свое время Пикель принимал активное участие в гражданской войне, был руководителем политотдела 16-й армии. Как и Рейнгольд, он примкнул к оппозиции, но ненадолго. Порвав с ней, он не занимал сколь-нибудь значительных постов, а непосредственно перед арестом был директором и одновременно политическим руководителем московского Камерного театра. Пикель любил театр и был вполне удовлетворен своей должностью. От политической деятельности он ушел и посвящал свой досуг литературной работе и романтическим похождениям, в которых участвовали молодые актрисы его театра. Кроме того, он увлекался игрой в покер, по большей части в обществе видных сотрудников НКВД. В эту среду он охотно был принят как искусный карточный игрок и «компанейский парень». Вдобавок его весьма жаловали жены этих деятелей.

Выходные Пикель проводил чаще всего на загородных дачах высокопоставленных чекистов, свободно пользуясь их персональными машинами и прочими жизненными благами. В 1931 году он все лето провел на даче начальника московского областного управления НКВД, недалеко от сталинской резиденции. Благодаря покровительству своих друзей из НКВД он совершил два приятных заграничных путешествия – одно по Европе, другое в Южную Америку.

Друзья Пикеля были искренне огорчены, узнав, что Ежов и Ягода решили ввести его в новый судебный спектакль в качестве подсудимого. Они пытались заступиться за него, но тщетно. Впрочем, они смирились с необходимостью его ареста, когда Ягода сказал им, что Пикель не будет отбывать назначенного наказания в лагере. Его поставят прорабом на одну из крупных строек, находящихся в ведении НКВД.

Пикель был прямо-таки сражен внезапным арестом. Тем не менее, несмотря на свою природную деликатность, он довольно долго оказывал сопротивление следователям и отказывался наговаривать на себя и на своего бывшего шефа Зиновьева. Ягода решил прибегнуть к помощи своих подчиненных из числа друзей Пикеля. Это были начальники различных отделов НКВД – Гай, Шанин и Островский. Отныне следствие приняло в глазах Пикеля характер почти семейного дела. Ему уже не задавали формальных вопросов: «Назовите вашу фамилию! Назовите ваше имя! Сколько времени вы принадлежали к оппозиции?» От Пикеля не требовали больше, чтобы он называл сидящих перед ним энкаведистов «гражданин следователь», он мог запросто обращаться к ним по имени: «Марк», «Шура», «Иося». Если б сюда на стол еще колоду карт – все выглядело бы как раньше, на свободе – за игрой в добрый старый покер. Однако напротив «Марка», «Шуры» и «Иоси» Пикель сидел теперь в качестве заключенного. Они откровенно сказали ему, что не смогли спасти его от ареста – «этого потребовали сверху», но если он согласится помочь НКВД своими показаниями про-

тив Зиновьева и Каменева, они обещают ему, что, каким бы ни был приговор суда, Пикель отбудет свой срок не в лагере, а «на воле», в качестве одного из руководителей затеваемой крупной стройки на Волге.

Пикель сдался. Он просил только, чтобы ему устроили встречу с самим Ягодой, который должен подтвердить все эти обещания. Ягода согласился побеседовать с Пикелем и все великодушно подтвердил, после чего Пикеля передали в распоряжение Миронова, который составил ему текст требуемых от него показаний. В мироновском кабинете состоялась встреча Пикеля с его давним приятелем Рейнгольдом – тот был в ведении Миронова. Так Пикель занял предназначенное ему место в сценарии будущего судебного процесса.

В своих показаниях, подготовленных Мироновым, Пикель признал, что по настоянию Зиновьева он совместно с Бакаевым и Рейнгольдом готовил покушение на Сталина. Он подтвердил также свидетельство Рейнгольда, что бывший троцкист Дрейцер пытался организовать покушение на жизнь Ворошилова. Но основная часть показаний Пикеля была направлена против Зиновьева.

В противоположность Рейнгольду, который уже с готовностью подписывал все, что от него требовали, и притом верил, что выполняет задание партии, Пикель, как правило, воздерживался от ложных показаний против других обвиняемых. Исключение он делал только для Зиновьева, ибо считал себя связанным обещанием, данным Ягоде. От него требовали, чтобы он свидетельствовал и против остальных обвиняемых, однако Пикель выработал для себя такое правило: если арестованный «сознался» или был оговорен другими обвиняемыми – тогда и Пикель соглашался подтвердить эти показания. В то же время он категорически отказывался клеветать на людей, в отношении которых НКВД не располагал еще компрометирующими данными. Рейнгольд, со свойственной ему энергией, самозабвенно бросился на помощь следователям; Пикель, напротив, был воплощением апатии и инертности. Постепенно он утрачивал свойственную ему общительность, сделался вовсе некоммуникабельным и оказался в состоянии глубокой депрессии.

Между тем, как мы знаем, Пикелю была отведена исключительно важная роль свидетеля, выступающего персонально против Зиновьева. Поэтому руководителей следствия начало беспокоить его душевное состояние. Они опасались за его рассудок. Тогда Ягода приказал его бывшим друзьям навестить Пикеля в тюрьме и проявить к нему внимание и сочувствие. Пикеля перевели в лучшую камеру, где Шанин, Гай и Островский стали навещать его довольно часто. Захватив с собой колоду карт, бутерброды, кое-какие напитки, они порой засиживались в его обществе до глубокой ночи. Эти посещения приободрили Пикеля. Он воспрял духом, острил, как в доброе старое время, и, кажется, иногда даже забывал, где находится. Но вдруг, как бы спохватившись, становился серьезным, и у него вырывалось: «Ох, ребята, боюсь, вы меня впутали в грязное дело. Смотрите, как бы вам не лишиться классного партнера!»

## 2

Показания Валентина Ольберга, Исаака Рейнгольда и Рихарда Пикеля дали руководству НКВД необходимый материал для обвинения Зиновьева, Каменева, Смирнова, Бакаева, Тер-Ваганяна и Мрачковского. Таким образом, создавалась основа для открытого судебного процесса. Теперь его организаторам предстояло использовать ложные показания для шантажа бывших деятелей оппозиции и выжать из них «признания» об их участии в антиправительственном заговоре.

Правда, свидетельств Ольберга, Рейнгольда и Пикеля было далеко не достаточно. Чтобы ликвидировать не только вожakov оппозиции, но и ее рядовых участников, Сталину требовалось продемонстрировать на процессе, что в сферу ее действий входила вся страна, ее террористические группы орудовали почти во всех областях Советского Союза.

Из дальних тюрем и лагерей в Москву ежедневно доставлялись все новые участники оппозиции. По сталинскому замыслу, они должны были изображать членов террористических групп. Из этого «сырья» следователи НКВД отбирали, а затем и «обрабатывали» рядовых участников предстоящего судебного спектакля.

Но если руководству НКВД сравнительно легко дались «признания» таких людей, как Рейнгольд и Пикель, следователи среднего звена, действовавшие параллельно, никак не могли добиться нужного результата. Заключение, с которыми они имели дело, упорно отказывались признать, что они готовили террористические акты. К тому же у большинства из них было железное алиби – ведь уже несколько лет они находились в тюрьмах, лагерях или в ссылке, в отдаленных частях страны. Молчанов поторапливал следователей; их самолюбие страдало от того, что нужных начальству результатов не получалось, и они падали с ног от усталости. Наконец, осознав безнадежность ситуации, на очередном совещании у Молчанова они высказали свои претензии: они не располагают надежными средствами, чтобы «загнать подследственных в угол» и выжать из них признания. Циркуляр Ягоды, запрещающий применять угрозы и посулы, фактически разоружает их в борьбе с подследственными.

Молчанов разыграл крайнее изумление. Он просто не может поверить, чтоб они, опытные чекисты, с таким многолетним стажем работы в «органах», так уж буквально понимали циркуляр народного комиссара!

– Чекист должен быть не только хорошим следователем, но и грамотным политиком, – многозначительно заявил Молчанов. – Он должен уметь рассудить, что имеет к нему отношение, а что не имеет, что написано для него, а что – просто из соображений высшей политики.

– Но как же это различить? – спросил один из следователей. – Циркуляр подписан самим наркомом и предназначен именно для нас!

– Теперь вы знаете, как! – отрезал Молчанов. – Я вам говорю это официально, от имени наркома: идите к своим подследственным и задайте им жару! Навалитесь на них и не слезайте с них до тех пор, пока они не станут сознаваться!

Каждый из присутствующих знал, кому принадлежит эта циничная фраза. Ее еще в 1931 году употребил Сталин, когда тогдашний начальник Экономического управления НКВД Прокофьев докладывал ему о деле арестованных меньшевиков Суханова, Громана, Шера и других. Недовольный тем, что Прокофьеву не удастся заставить их сознаться, будто они вели переговоры с генеральными штабами иностранных государств, Сталин заявил ему: «Навалитесь на них и не слезайте, пока они не начнут сознаваться».

Отныне следователи всеми силами старались наверстать упущенное. Тем не менее, на первых порах все оставалось по-прежнему. За две недели, прошедшие после совещания у Молчанова, целая армия следователей сумела вырвать «признание» только у одного из обви-

няемых. Между тем Сталин ежедневно справлялся о ходе следствия. Чтобы как-то ускорить дело, Молчанов с согласия Ягоды собрал еще одно совещание следователей, пригласив на него секретаря ЦК партии Ежова.

На совещании тот произнес речь, подчеркнув исключительную важность предстоящего процесса для всей партии, и призвал следователей быть более твердыми и беспощадными с врагами партии. Ежов пересыпал свое выступление избитыми лозунгами вроде: «Нет таких крепостей, которые большевики не сумели бы взять!», обращался к самолюбию следователей. Однако наибольшее впечатление на собравшихся произвело одно место в его речи, где зазвучала новая нота, обращенная непосредственно к ним: «Если, – сказал Ежов, – кто-то из вас испытывает сомнения и колебания, если кто-нибудь по той или иной причине чувствует, что он не в силах справиться с троцкистско-зиновьевскими бандами, – пусть скажет, и мы освободим его от следовательской работы». Все прекрасно понимали, что за этим последует: отказ вести дело «троцкистско-зиновьевских бандитов» будет расценен как протест против организации самого «дела», и отказавшегося ждет немедленный арест. Каждый теперь осознал, что, не сумев добиться признания подследственного, он рискует быть заподозренным в сочувствии ему.

Ближайшая же неделя дала неожиданно большое число «признаний». Одна из следственных групп, возглавляемая начальником отдела Специального политического управления НКВД Южным – человеком насквозь аморальным и бесчестным – добилась признаний сразу от пяти заключенных, показания которых затронули к тому же Зиновьева и Каменева. Это были преподаватели марксизма-ленинизма из Ленинграда и Сталинграда, только недавно попавшие в тюрьму и никогда не принадлежавшие ни к какой оппозиции. Им предъявлялось обвинение только в том, что в их учебных заведениях действовали нелегальные троцкистские кружки. Секрет успеха Южного был прост: узнав, как большое начальство поступило с Рейнгольдом и Пикелем, он применил к бедным преподавателям тот же нехитрый прием.

Молчанов, дознавшись об этом, собрал специальное совещание, на котором сурово критиковал поведение Южного и его помощников. В данном случае нельзя было, оказываясь, уговаривать подследственных дать показания против Зиновьева и Каменева «в интересах партии», необходимо было заставить их осознать тяжесть своих преступлений и раскаяться. «Такая работа, – негодовал Молчанов, – не имеет ничего общего с подлинным следствием!»

«Я мог бы, – продолжал он, – хоть сейчас выйти на Лубянскую площадь, созвать сотню партийцев и сказать им, что партийная дисциплина требует от них дать показания против Зиновьева и Каменева в интересах партии. За какой-нибудь час я соберу сотню таких заявлений за их подписями! Никто не давал вам права обращаться к арестованным от имени партии! Методы такого рода, – поучал Молчанов, – могут применяться только в виде исключения по отношению к особо важным обвиняемым, да и то лишь по специальному разрешению товарища Ежова. А вам необходимо вести следствие так, чтобы арестованный ни на секунду не усомнился, что вы действительно считаете его виновным. Можете играть на его любви к семье, на специальном постановлении, касающемся детей, в общем, на чем хотите, но соглашаться с арестованным, что он лично не виновен, и такой ценой получать его признание – абсолютно недопустимо!»

### **3**

Сделав троицу Ольберг-Рейнгольд-Пикель своим послушным орудием, организаторы процесса начали расширять масштабы дела.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.